ВЛАДИМИР НАРБУТ

избранные стихи

La Presse Libre
Paris

XX век

Владимир Нарбут

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

ВЛАДИМИР НАРБУТ

избранные стихи

La Presse Libre
Paris



ВЛАДИМИР НАРБУТ

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

Подготовка текста, вступительная статья
и примечания Леонида Черткова

LA PRESSE LIBRE
PARIS

Titre original en russe:

Vladimir Narbout
IZBRANNYIE STIKHI

© Edition de «La Presse Libre»
1983

ISBN 2-904228-13-6

Tous droits réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est interdite. Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit, photographie, microfilm, bande magnétique, disque ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1958 sur la protection des droits d'auteur.

Imprimé en France.

СУДЬБА ВЛАДИМИРА НАРБУТА

I

Владимир Иванович Нарбут родился 2(14) апреля 1888 г. на хуторе Нарбутовка Глуховского уезда Черниговской губернии. Нарбуты — старый литовский род, представители которого переселились на Украину в XVII веке и получили дворянство и землю в период гетманства Ивана Мазепы. В «Малороссийском гербовнике» В.К.Лукомского (II, 1914) имеется рисунок и следующее описание герба Нарбутов (стр.118, LV): «Щит: в черном поле три серебряные трубы в звезду. Нашлепник: рука, держащая подкову». Несмотря на пышный герб, дворянство Нарбутов было уже весьма захудалым. Отец поэта — Иван Яковлевич (1854-1919), хотя и окончил в свое время Киевский университет, занимал мелкую канцелярскую должность. Мать поэта — Неонила Николаевна (урожденная Махнович) — как-то сводила концы с концами. В 1896 г. Владимир поступил в классическую гимназию в городе Глухове, богатом воспоминаниями гетманской старины. Учась в гимназии, он уже начал давать уроки. А закончив ее с золотой медалью, вместе со старшим братом — известным впоследствии художником-графиком Егором (Георгием) Нарбутом — переехал осенью 1906 г. в Петербург. Здесь Владимир поступил в университет — сначала на математический факультет, потом на факультет восточных языков, а затем перевел-

ся на историко-филологический. Занимался Нарбут между прочим у известного лингвиста И.А.Бодуэна де Куртене (чьи лекции, судя по всему, оказали немаловажное влияние на его литературное развитие) и у историка западной литературы Ф.Д.Батюшкова. Жили братья на квартире художника И.Я.Билибина, оказавшего значительное воздействие как на графику Егора, так и на поэзию Владимира (на ее фольклорно-сказочную тематику). С рассказом Билибина о его поездке в Соловки связана вероятно первая публикация поэта — «Соловецкий монастырь. Историко-бытовой очерк» (с рисунками Е.Нарбута), помещенная в журнале «Бог — помощь! Беседы» (еженедельное приложение к газете «Сельский вестник» за 1908 год). В таком же очерковом, несколько хрестоматийном жанре написаны и другие его произведения, публиковавшиеся в 1909-10 гг. в журнале «Сборник русского чтения». Лишь в «Студенческом сборнике» (Вышний Волочок, 1909) он помещает стихи и рассказ «Часы». Но уже в 1910 году Нарбут издает большой сборник стихов.

Этот сборник обращает на себя в общем благосклонное внимание поэтической критики (В.Брюсов в «Русской мысли», Н.Гумилев в «Аполлоне», В.Пяст в «Gaudeamus», проф.С.Адрианов в «Вестнике Европы»). В.Нарбут принимает активное участие в литературной жизни Петербургского университета. В 1911 году вышло 11 номеров журнала «Gaudeamus», в котором он исполнял обязанности секретаря. Здесь он впервые проявил свой организаторский талант, умение сплачивать лучшие литературные силы — достаточно сказать, что в скромном студенческом журнале печатались И.Бунин, В.Брюсов, А.Блок, М.Волошин, А.Толстой и др. Однако вскоре издание было прекращено с весьма симптоматической мотивировкой: «вследствие индифферентного отношения

молодежи к вопросам чистого искусства». Симптоматической, — поскольку осенью того же 1911 года, после неудачной попытки организовать новое издание «Студенческий мир», мы уже видим Нарбута в составе группы (недоучившихся, как и он) студентов Университета, создавших литературную группу «Цех поэтов» и провозгласивших устами Н.Гумилева и С.Городецкого образование новой поэтической школы — акмеизма (или адамизма), оставившей, как известно, значительный след в истории русской поэзии.

В апреле 1912 Нарбут издает под маркой «Цеха поэтов» свою вторую книгу стихов под названием «Аллилуйя», прямо отвечающую на призыв С.Городецкого — «пропеть аллилуйю всему земному», — книгу, составившую ему громкое, хотя и скандальное, имя. Скандальное, — ибо сразу же по выходе она была арестована и уничтожена Департаментом печати, а автор вскоре был осужден по статье 1001 царского уложения законов (сводный текст) на год заключения «за порнографию». Причиной этого послужило главным образом кощунственное несоответствие церковнославянского шрифта, которым была набрана книга (скопированного к тому же с редкого неканонического Псалтыря), с чрезмерно «земным» содержанием. Нарбуту удается спасти из типографии десятка два экземпляров, которые он раздает друзьям и знакомым. (Известны экземпляры с посвящениями, кроме участников «Цеха поэтов», — Ф.Батюшкову, А.Ремизову, Вяч.Иванову и др. Интересна надпись поклоннику немецких романтиков Василию Гиппиусу — «Небесняку от земняка»). Выбитый из колеи этой историей, Нарбут бросает университет, Петербург и с коротким заездом домой уезжает в октябре 1912 г. в Абиссинию (очевидно, по совету бывавшего там Н.Гумилева). Сохранилось несколько его писем оттуда жур-

налисту Н.Н.Сергиевскому (Архив Пушкинского Дома). Так, в письме из Дире Дауца от 2(15) декабря 1912 г. он пишет: «Вот уже почти два месяца, как я в Абиссинии. Страна эта — очень интересная, хотя без знания арабского или абиссинского языка — почти недоступная. Объедаюсь бананами и, признаться, страшно скучаю по России... Может статься, в феврале увидимся в Питере. Впечатлений масса». Действительно, 21 февраля 1913 г. в связи с 300-летием Дома Романовых была объявлена амнистия, и Нарбут, освобожденный от наказания по процессу об «Аллилуйе», в том же месяце появился в Петербурге.

В период 1911-13 гг. он активно сотрудничает во многих петербургских журналах. А в марте 1913 г. он снова получает возможность испробовать свои организаторские способности — ему поручается редактирование известного «Нового журнала для всех», примыкавшего к народническому направлению. Нарбут сразу оживил беллетристический и критический отделы журнала, но оказавшись неопытным финансистом, быстро истощил скудную редакционную кассу и не смог выполнить обязательств перед подписчиками (не издав номера за май 1913 г.). Не находя другого выхода, он передал право редактирования первому, кто на это согласился, — журналисту консервативного толка А.Гарязину. Это означало изменение ориентации журнала и вызвало переполох среди подписчиков. Пришлось выдержать малоприятные объяснения в печати (газета «Русская молва»). В конце концов Нарбут покинул Петербург, уехал к себе в деревню и имя его почти исчезло со страниц столичной прессы. Заседания «Цеха поэтов» и вечера «Бродячей собаки» продолжались уже без него.

В деревне он между прочим готовит к публикации неизданные произведения рано погибшего поэта Ивана

Коневского и пишет статью о нем. (Эти материалы погибли во время гражданской войны). В мае 1914 г. он женится в Москве на Надежде Ивановне Лесенко. И, переселившись в Глухов, сотрудничает в провинциальной (моршанской, черниговской, глуховской) печати, совмещая это с работой в страховой конторе. Но главное — пишет много стихов.

В этот период он издает в Петербурге две маленькие книжечки «Любовь и любовь» (1913) и «Вий» (1915) — всего из нескольких стихотворений, тематически и стилистически примыкающих к «Аллилуйе». Подготавливает большую «Четвертую книгу стихов», оставшуюся неизданной (Архив Библиотеки им.Ленина) и представлявшую в художественном плане несомненный шаг назад в сравнении с «Аллилуйей». Но в эти же годы он создает две новаторские поэмы («Любовь» и «Александра Павловна») и ряд стихотворений в новом стиле, которые увидели свет лишь в 20-е годы (сборник «Александра Павловна», 1922).

Между тем Февральская революция затронула и сонный Глухов. Проявивший интерес к политической деятельности Нарбут вначале примкнул к левым эсерам-интернационалистам, но в сентябре 1917 г. объявил себя большевиком (первым в уезде). В этом качестве он и был избран в Глуховский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, несмотря на развернутую в местной печати кампанию против «большевика и поэта-футуриста». Однако в период начавшейся гражданской войны его новая репутация сослужила ему плохую службу — во время нападения на их хутор «зеленых» его брат Павел был убит, а сам он был сильно искалечен.

* * *

II

Первые известные нам стихотворения Нарбута (хранятся в ЦГАЛИ, фонд 1687) датируются 1906 годом. Из них можно выделить разве что стихотворение «Бандурист» с редким для молодого Нарбута гражданским звучанием — тенденция, которая проявит себя лишь в годы революции. В первом же сборнике стихов помечено: «1909 — год творчества первый». Стихотворения 1909-11, как вошедшие в сборник, так и опубликованные в периодике или оставшиеся ненапечатанными, традиционно обращены к т.н. «вечным темам» — любовь, разлука, впечатления детства и т.д. Особенно часто встречается у него пейзажно-описательный мотив. Из поэтов-современников ему ближе других И.Бунин (что подтверждается одним из эпиграфов), Б.Садовской. Однако Нарбута выделяет бóльшая самостоятельность. Это было верно отмечено В.Пястом: «Вл.Нарбуту самый стих дается с трудом. Его анапесты, выражаясь по-современному, пестрят эпитритами, а ямбы — спондеями. Но в этой-то замедленности, в этом балласте излишних ударений и кроется своеобразность ритмической физиономии молодого поэта» («По поводу последней поэзии» — «Gaudeamus», №5, 1911, сс.8-10). Здесь же Пяст верно подмечает эмоциональную подоснову этих неправильностей речи. Указывает на графичность (т.е. не живописность) стиха. Все «свое» — сочное, неуклюжее, но подлинное. Он же отмечает влияние раннего К.Случевского («Ходит ветер избочась»), которого Нарбут действительно ценил всю жизнь. В.Брюсов писал: «Нарбут выгодно отличается от многих других реализмом своих стихов. У него есть умение и желание смотреть на мир своими глазами, а не через чужую призму. Ряд метких наблюдений над жизнью рус-

ской природы рассыпан в его книге» (цитирует «Комары»). Но тут же он отмечает и недостатки его раннего творчества: «Нарбут с каким-то скучным безразличием относится ко всем темам своих стихотворений. Ему словно все равно о чем ни писать. Подметит что-нибудь в вечере — напишет о вечере, заметит особенности в наступлении бури — сложит строфы о буре» (цит. по кн.: «Далекие и близкие», «Стихи 1911 г.», с.196). Действительно, среди стихов Нарбута этих лет много так называемых проходных — варьируя мотивы зимней ночи, заката, летнего дождя и находя в своей неистощимой наблюдательности все новые краски и ракурсы, он нередко сбивается на обыденность и подчас перестает выделяться среди массовой журнальной поэтической продукции этих лет. Описательность отяжеляет его стих, сковывает его возможности. Однако наряду с рациональностью крепко сшитого стиха у него уже заметна решительная неудовлетворенность нормативной поэтической речью, склонность к грамматическим неправильностям, диалектизмам и украинизмам, яркость тропов.

В конце 1911 г. в поэзии Нарбута происходит резкий качественный поворот — он обращается от все еще не дающейся ему лирики к т.н. «бытоэпосу» (название, сформулированное позднее). И здесь он находит себя. Ученическая корявость письма вдруг сменяется удивительным многообразием форм и приемов. Конечно, удача «Аллилуйи» была отчасти предвосхищена его предыдущей работой. Обращение же к народной мифологии, очевидно под влиянием автора «Яри» С.Городецкого, подкрепленным украинской литературной традицией, обогатило его поэзию темами. Как уже говорилось выше, вероятно, здесь было и влияние Билибина (его рисунки чертей — «Водяной», «Банник», «Леший») — на сказочную часть «Аллилуйи» («Нежить», «Лихая тварь»

и др.). То, что раньше казалось недостатками Нарбута — обилие провинциализмов, украинизмов, диалектизмов — обернулось теперь яркой самобытностью, — которая только подчеркивалась присущей ему шероховатостью и известной топорностью письма. То же, что в своих «бытовых» стихах он шел не от литературы, а от непосредственного наблюдения жизни, — резко выделяло его вообще из рядов литературной молодежи. Он как бы наново описывает вещи и явления окружающего мира. Среди употребляемых им отныне приемов надо отметить широкое, как ни у кого, применение скобок внутри строки — дополнительный ассоциативный ход, придающий мысли новый оттенок и динамичность. Необычайное употребление известных слов («курево красок»), опредмечивание определений («вислоухие» — о колоколах), употребление собственных имен, как нарицательных («эскулапы», «мазепа») — прием, подхваченный Н.Заболоцким и А.Введенским и т.д. Иногда сквозь плотную фактуру его письма прорывается своеобразный, но неподдельный лиризм («Шахтер»). Сравнения грубые, но бьющие («поп как в тине, в рясе»). Когда мы всмотримся в его сочные натуралистические зарисовки украинского быта, мы увидим, что учитель Нарбута отнюдь не Бунин, а русско-украинская литература XVIII-XIX вв. — народная псалтырь, Г.Сковорода, В.Нарежный, Н.Гоголь, Е.Гребенка, Н.Котляревский, П.Кулиш и др. Именно это почвенничество и помогло ему найти себя. Однако помимо этой традиции, подтвержденной эпиграфами, он косвенно наследует и более обширной стихии — ирои-комической поэме, эпическому гротеску XVIII века: В.Майкову, Н.Осипову, А.Нахимову, И.Баркову. Сходство здесь — в частых грамматических неправильностях, обусловленных эмоциональным ходом стиха, смещение разных слоев языка (высокого и низко-

го штилей). Интересно и сближение его с капитаном Лебядкиным Достоевского, оказавшим, хотя и парадоксальное, но несомненное влияние на новую русскую поэзию — Н.Заболоцкий, Н.Олейников (В.Нарбут взял из него эпиграф к поэме «Александра Павловна»).

Следующий этап в поэзии В.Нарбута — сборник «Плоть», изданный в Одессе в 1920 году, но составленный преимущественно (что подтверждается первыми дореволюционными публикациями и свидетельством М.А.Зенкевича в рецензии в журнале «Саррабис», 1921), кроме разве стихотворения «Тиф», — из прежних стихов. Здесь мы видим дальнейшее становление и развитие метода. Расширяя круг своих наблюдений, Нарбут охватывает новые стороны жизни (ср. и стихи Зенкевича этих лет — «Свиней колют», «Смерть лося», «Вечная рифма» и др.). Это можно назвать нео-передвижничеством. Поэт переходит от явления к явлению, кропотливо описывая и осваивая его (и постоянно сбиваясь с парнасской описательности на эмоциональное отношение), но без всякой тенденции с предельно замаскированным отношением автора. Подлинное отношение к «лодырю шахтеру» и к «поденщику дармоеду» проявится у него уже во время революции. Здесь более явной делается и другая его традиция — традиция французских «проклятых поэтов» («les poetés maudits») — Ш.Бодлера, А.Рембо, Т.Корбьера, знакомых очевидно из вторых рук (Н.Гумилев, М.Зенкевич, возможно Б.Лившиц) и тем не менее внутренне близких. Здесь в поле зрения автора попадают предпасхальный забой свиней, баня, столярная мастерская, самоубийство и даже спиритический сеанс. Здесь же и стихи «Абиссиния», где, по точному замечанию того же Зенкевича, «острый хохлацкий взгляд Нарбута увидел совсем другие черты, чем экзотик Гумилев» («Культура», Саратов, 1921) — не «сикоморы

и розы», а «прокаженных в Харраре». Можно сказать, что в противоположность описательной лирике Гумилева в сборнике «Шатер», Нарбут и здесь продолжал искать ту же правду о земле, что и в «Аллилуйе». Неслучайно, что поэтика акмеистов с этим превалирующим описательным элементом более восходит к прозаической, нежели к стихотворной стихии (ориентация на авантюрную прозу у Гумилева, на интимную — у Ахматовой, на интеллектуальную — у Мандельштама, на бытовую — у Нарбута). С развитием «бытоэпоса» у Нарбута обнаруживается неслыханная прежде плотность поэтической речи. Он смело включает в стихи прозаические конструкции, прямую речь («А не отдать ли, Машенька, на круг с четвертой тимофеевку в яруге?»). То и дело натуралистическая (до антиэстетизма) описательная ткань стиха прорывается у него неистовым эпическим пафосом:

И схваченная судорогой туша,
Расплескивая краски сургуча,
Запрыгает, как под платком кликуша,
В неистовстве хрипя и клокоча.

Редкое звуковое и интонационное мастерство позволяет ему уверенно сдвигать с места на первый взгляд тяжеловесные и неудобопроизносимые словесные конструкции. Поэт то и дело берет верх над аналитиком. Часты у него цитаты из летописей и священных книг, библейские образы, причем роль их отнюдь не декоративная. Ему близка не только их обращенность к первичному, вечному, но и сжатость и выразительность стиля. Предвосхищая Пастернака 20-х годов, он перекладывает на язык стиха сложные явления человеческой психологии (телепатия):

И в гостиной — дерзнувший чрез душу и плоть
Пропустить, как чрез кабель, стремление косное —
Все не мог, изможденный, еще побороть
Сотворенное бурей волнение грозное.

Следующий значительный сборник стихов — «Александра Павловна» (1922), составленный по большей части из предреволюционных стихов, изданный футуристическим издательством «Лирень» в Харькове, где сотрудничали В.Хлебников, Г.Петников, Т.Чурилин и др. Этот сборник действительно знаменует новый качественный этап в творчестве поэта. Кроме нескольких глав из одноименной поэмы, которую можно назвать опытом романа в стихах (не имеющим, однако, ничего общего с «Евгением Онегиным», который обычно брался в подобных случаях за образец третьестепенными поэтами), сюда входит также поэма «Любовь» и несколько довольно ярких стихотворений, выдержанных к тому же в более живых и легких ритмах, чем «бытоэпос». Главы из поэмы «Александра Павловна» в сборнике были опубликованы в нарочито спутанном виде (полный текст впервые дается в настоящем издании) и связь между главами вообще довольно слабая, скорее тематическая. Но поэма написана с известным лирическим размахом (несмотря на бытовую сниженность темы) и свободой (одна глава написана белым стихом — вообще чрезвычайно редким у Нарбута — причем весьма выразительным, что подчеркивается «макабричностью» содержания). Вторая поэма — о сущности любви — начинается с философского размышления о ней и завершается данной в сложных пересекающихся планах яви и воспоминаний картиной физиологического акта (одной из немногих в подлинной поэзии — после «Фьезоланских нимф» Бокаччо). И невзирая на грубость отдельных

выражений ее никак нельзя отнести к порнографии — это то же нелицеприятное обозрение «всего земного» с неизменно присущей поэту трагической нотой. Из других стихотворений сборника следует выделить «Колдун», показывающий новые возможности Нарбута как поэта, к сожалению, оставшиеся неразвитыми.

Для полноты характеристики его предреволюционного творчества необходимо остановиться и на образцах его прозы (не следует путать его с В.А.Нарбутом, автором сборника рассказов «На охоте», М., 1915, как это иногда делается). Среди его попыток этого рода более всего полуэтнографических очерков из украинского быта («Сырные дни на Украине», «Пробуждение природы», «В великом посту», «Нежданная радость», «Весной», «Малороссийские святки» — журнал «Сборник русского чтения» за 1909-10 гг.). Несмотря на известную слащавую хрестоматийность, присущую вообще данному изданию, здесь встречаются яркие описания, не только параллельные поэзии Нарбута, но и дополняющие ее. Например: «долго будут тлеть в оврагах под кустами колючей дерезы да чертополоха засиневшие мощи льда и долго — до самых злых засух будет стоять в окаменевших глиняных колдобинах-ямах вешняя вода, заплесневевшая и с юркими головастиками» («Сырные дни на Украине»). Среди же его рассказов можно выделить рассказ «Пелагея Петровна», сходный по материалу с «Клубникой» и интересный откликом на события 1905 года в деревне («Нива», №46,47, 1912). Но более ярок и закончен рассказ «Свадьба» («Север», №14, 1913). Вот несколько описаний из него: «После Пасхи, когда потекло с крыш и бугров, когда невыкорчеванные пни продрались чрез ноздристый вялый снег и приютили меж потрухших — напоказ — гадючьих корней своих — свежее кружево бледно-зеленой нежгущейся крапивы...» Или: «Зелено-

вато-красные стрекозы, приподнимая суставчатые зады, взлетали над кустами выбросивших бутоны ирисов, звенели надоедливо и — опускались опять, вздрагивая и поворачивая чрезмерно-крупные навыкат перламутровые глаза свои. Пахло испариной, перегретой влажной землей и паутиной сбежались тени у корней яблонь и груш, убеленных цветом слаборозовым, женственным». Или: «затыкали гуттаперчевыми мордами коровы в ядреную воду». Здесь же характерное уснащение русской речи украинскими словами (квач, призьбы, хволый и пр.).

В эти же годы Нарбутом был написан ряд рецензий (в т.ч. на С.Есенина, Н.Клюева, О.Мандельштама, М.Цветаеву). Однако несмотря на наличие художественного вкуса (что проявится в его издательской деятельности), дарования критика он, в отличие от многих поэтов-современников, не проявил. Наиболее интересна его рецензия о поэтессе Любови Столице (в журнале «Gaudeamus»).

Итак, подводя итог дореволюционному творчеству Нарбута, можно сказать, что он более, чем кто-либо из его сверстников, проявил себя поэтом-пантеистом, наиболее последовательно пришедшим от литературных деклараций к изображению человеческого бытия с его мрачными, но и радостными сторонами.

III

1917 год является переломным в жизни и творчестве В.Нарбута. Нам трудно судить о том, что побудило его еще до октября 1917 года столь решительно примкнуть к большевикам. Ибо, подобно другим акмеистам, он до

этого времени проявлял лишь аполитизм, легко переходя от поверхностного монархизма (очерки в «Сборнике русского чтения») к столь же поверхностному народничеству (некоторые стихи). Как бы то ни было, летом 1918 года он перебирается в Воронеж, где принимает большое участие в организации местной печати. Так, он редактирует «Известия Воронежского Совета крестьянских и рабочих депутатов», принимает участие в «Воронежском красном листке» и в журнале «Вестник Воронежского округа путей сообщения». Но главное его предприятие — организация литературного журнала «Сирена». Пользуясь своими обширными литературными связями, Нарбут объединяет здесь на довольно расплывчатой полу-пролеткультовской платформе А.Блока, А.Белого, А.Ремизова, А.Ахматову, Б.Пастернака, М.Горького, А.Толстого и других. Однако уже весной 1919 года он переезжает в Киев, где его брат руководил в это время Украинской Академией Художеств. Очевидно под его влиянием В.Нарбут несколько склоняется к украинофильству и задумывает второе издание «Аллилуйи» на украинском и русском языках (с иллюстрациями брата). Кроме этого он принимает участие в издании журналов «Зори», «Солнце труда», «Красный офицер», а также выпускает книгу стихов «Веретено», уже посвященную политической злобе дня. Стихия гражданской войны окончательно захлестывает его, и при наступлении Добровольческой армии он покидает Киев, чтобы через Екатеринослав перебраться в район занятый Красной армией. Однако при пересадке в Ростове-на-Дону он был арестован белой контрразведкой и, пробыв некоторое время в тюрьме, подписал бумагу, в которой отказывался от дальнейшей деятельности в пользу большевиков. Надо полагать, это отречение было вынужденным, ибо после занятия Красной

армией Ростова в декабре 1919 г. он вновь начал сотрудничать в советской печати и выпустил сборник «Красноармейских стихов», которые, хотя и сильно уступали в качестве его прежним «аполитичным» стихам, были, очевидно, достаточно искренни.

Весна 1920 года застает его уже в Полтаве, где он успел издать сборник «Стихи о войне» и участвовал в издании альманаха «Радуга» и местных «Известий» («Вісти»). Проведя еще короткое время в Николаеве (где он также участвовал в местной печати), он оказывается в мае 1920 года в Одессе, где проводит более года*. Здесь он застал сложившуюся своеобразную литературную среду. Молодые писатели Ю.Олеша, В.Катаев, Э.Багрицкий, К.Паустовский и др., находившиеся ранее под смешанным влиянием эгофутуризма и колониальных романов, не без воздействия с его стороны совершают отчетливый поворот к реализму. Здесь Нарбут наконец переиздает (уже обычным шрифтом) «Аллилуйю» и издает «Плоть», а также сборники советских стихов — «В огненных столбах» и «Советская земля». Параллельно с организацией литературной жизни в Одессе, Нарбут занимает пост директора ЮГРОСТА (Южнороссийское телеграфное агенство), создает журнал «Лава» (сатирическое приложение «Облава»), печатается в известной газете «Моряк» и т.д. Осенью 1921 года он переезжает в Харьков — тогдашнюю столицу Украины. Здесь Нарбут занимает пост директора РАТАУ (Радио-

---

* Об этом периоде более подробно рассказано в статье Л.Берловской «Владимир Нарбут в Одессе» («Русская литература», Л., 1982, №3) — разумеется, с «партийных позиций», а также у В.Катаева — в сборнике рассказов «Бездельник Эдуард» (Л., 1925) и в «анти-мемуарах» «Алмазный мой венец» (1979), где Нарбут довольно неприязненно (хотя и выразительно) изображен под прозвищем «Колченогий».

телеграфное агенство Украины), организует первые в стране радиопередачи. Кроме издания книги стихов «Александра Павловна», он редактирует здесь литературно-художественную газету «Новый мир», печатается в журналах «Художественная жизнь», «Календарь искусств», газете «Харьковский понедельник» и пр. А летом 1922 г. переезжает в Москву.

Переход Нарбута на советскую платформу, активная политическая деятельность и в то же время нежелание сдавать эстетические позиции вызвали серьезный кризис в его творчестве, что привело его к решению (как несколько ранее другого поэта — Тихона Чурилина) — отказаться от поэзии вообще, чтобы целиком отдаться журналистской и партийной работе. Этот перерыв длился с 1923 по 1932 гг.

Как видно по некоторым стихам Нарбута («Аллилуйя», «Абиссиния»), он более других акмеистов был чувствителен к социальным контрастам. Поэтому путь его к революции, в которой он, надо думать, увидел прокламированное освобождение труда, был неслучаен. В его новых стихах сама его поэтическая манера претерпела важные изменения. От тягучих размеров и чрезмерно плотной ткани стиха он переходит к стремительным ритмам (хорей), распевному стиху, бóльшей броскости и разреженности образа — «овраг укачал деревню», «не от штыка — от револьвера в пути погибнуть как-нибудь». Или:

Хлюпнув, вдруг захлебнется беременное ведро,
Журавль сосет из колодца студеное серебро...
Пропела тоненько пуля, махнула сабля сплеча...
О теплая ночь июля, широкий плащ палача.

Подобно, увы, многим, поэтизируя красный террор:

Революции бьют барабаны
и чеканит Чека гильотину...

он вместе с тем не на шутку озадачивает советских критиков своими библейскими образами и особенно уподоблением большевиков евангельскому Иуде:

Иуда, красногубый большевик...

и пр. Некоторые из его стихов этого рода пользовались успехом и включались наряду со стихами Маяковского и комсомольских поэтов в советские «Чтецы-декламаторы» (например, стихотворение «Октябрь»), но большинство не поднималось над уровнем агитки и в общем его поэтическая сущность (как и Брюсова, Белого, Блока) осталась чужда этой стихии. В 1922 г. Нарбут подготовил к печати сборник стихов «Казненный серафим», в котором попытался слить воедино свою прежнюю манеру с новой тематикой и поисками новых средств выражения. Однако на практике это привело к крайней усложненности и надуманности образа (местами до полной невнятицы) и синтаксиса, к вялости лирического голоса и т.д. Неслучаен в этой связи был инцидент со стихотворением «Белье», напечатав которое в харьковском журнале «Календарь искусств», он вынужден был потом разъяснять его по просьбе читателей (см. №4 за 1923 г.). Сборник остался ненапечатанным и характерно, что составляя впоследствии итоговую книгу «Спираль», поэт почти ничего не включил туда из «Казненного серафима».

Отметим из этих лет прозаический фрагмент из очерка о журналисте Власе Дорошевиче «Король в тени» («Художественная мысль», Харьков, №3, 1922): «Бухты, спокойные и домашние, — может быть потому, что

горла их слишком узки, на выщербленных берегах ютятся белые домики, а вода густая и зеленоватая, как олеонафт; кривые, взбегающие ящерицами в гору и скатывающиеся вдруг к базару, улицы; известковые террасы, пересеченные ступенями и ступеньками, а по бокам, в молочном тумане, важные лысые горы; сырой отяжелевший от тумана ветер, лениво перебирающий оборванные провода и гладящий ткнувшееся мордой в выбоину орудие; обгорелые пролеты окон огромного корпуса Американского Красного Креста и присмиревшие вдоль тротуаров особняки».

За годы, прошедшие в отрыве от поэтической деятельности, Нарбут сделал значительную карьеру — работник отдела ЦК партии по печати, член правления и член товарищеского суда ВАПП (Всесоюзная Ассоциация Пролетарских Писателей). Но основная его деятельность лежит в сфере издательской. Он состоит председателем правления издательства «Земля и фабрика», редактирует популярные журналы «Вокруг света», «Всемирный следопыт», «Всемирный турист», «30 дней». Из его статей в журналах «Книгоноша», «Журналист», «На литературном посту», ничем не отличающихся от заурядной советской журналистики, можно выделить разве что рецензию «Ценная книга» на словарь-указатель по книговедению А.В.Мезьер («Журналист», №15, 1924).

Интересно, что некоторые писатели старались напомнить ему о поэзии. Так, Вяч.Шишков писал ему 24 августа 1925 г.: «Разбираясь в библиотеке Аничковых... натолкнулся на журнал «Всеобщий журнал» за 1911 и 1912 гг. с рядом Ваших очень хороших лирических стихотворений. Отчего вы перестали писать стихи? В них — звучность, простота, любовное отношение к природе» (здесь и ниже — Архив ИМЛИ). Б.Пастернак

пишет ему 20 декабря того же года: «Мне бы очень хотелось как-нибудь повидаться с Вами в обществе Асеева, Зенкевича и Петровского. Не соберемся ли мы как-нибудь в Сокольниках у Маяковского?.. Мне лично очень бы хотелось Вас видеть. Знаю о разговоре с Вами насчет судеб поэзии и пр. Странно, но я отношусь к этой идее холодно. Но это тоже целая тема и в строчке не скажешь».

В издательстве «ЗИФ» Нарбут осуществляет много изданий пролетарских писателей*, но также и западной литературы. Он был связан по издательской линии с Томасом Манном, Генрихом Манном, Б.Келлерманом, А.Голичером и др., хотел издавать Ф.Кафку. В начале 1928 Нарбут принял участие в организации советского стенда на международной выставке печати в Кельне. Он проектирует издание большого иллюстрированного «Всеобщего журнала» с приложениями с участием 150 писателей (который должен был, судя по рисунку обложки единственного вышедшего номера, как бы компенсировать неудачу с «Новым журналом для всех» в 1913 г.). Однако летом этого же года его исключают из партии «за сокрытие ряда обстоятельств, связанных с пребыванием в плену у белых в 1919 г.» (т.е. в первую очередь — за вышеупомянутое отречение). Несомненную роль в его исключении сыграл и фельетон о нем в эмигрантской печати Георгия Иванова, вошедший в его книгу «Петербургские зимы» (1928), написанный с обычной для Г.Иванова остротой, но и с многочисленными неточностями и передержками (например, явно пришедшееся большевикам по вкусу, изображение Нарбута 1910-х годов как богатейшего помещика, разо-

* «Вы — собиратель литературы земли Союзной», — пишет ему с благодарностью А.Серафимович 23 декабря 1927 года.

ряющего мужиков и сыплющего деньгами). Естественно, теперь Нарбут вынужден заниматься случайной литературной работой. Редактирует, например, Театрально-музыкальный справочник на 1930 год, переводит прозу с национальных языков.

Но нет худа без добра. Он возвращается к поэтической деятельности. В 1932 г. он читает О.Мандельштаму (который после своего злополучного перевода «Тиля Уленшпигеля» для того же «ЗИФа» и последовавшей цепи несчастий находился в не лучшем, чем сам Нарбут, положении) посвященное ему стихотворение «Так что ж ты камешком бросаешься». Оно довольно своеобразно, — развиваясь из собственного нарбутовского метода, стихотворение вместе с тем близко и по стилю и по замыслу поэзии Мандельштама этих лет, его попыткам осмыслить и принять советскую реальность. В 1933 г. Нарбута принимают во вновь созданный Союз писателей. Он печатает ряд новых стихов в «Новом мире», «Красной нови», «Молодой гвардии», «30 днях», «Вечерней Москве» и других журналах, переводит с чеченского и других национальных языков (сборник «Поэзия горцев Кавказа», 1934).

Большинство его новых стихов принадлежит к жанру так называемой «научной поэзии», теорию которой он активно разрабатывает, опираясь на опыт французских поэтов 80-90-х годов — Р.Гиля, Р.Аркоса, а также Э.Верхарна и В.Брюсова. Однако, в отличие от них, Нарбута привлекает не так космическо-философская проблематика, как описание конкретных изобретений человека («Железная дорога», «Шаропоезд», «Лесозавод», «Пуговица»), работы человеческого организма («Сердце», «Еда»), описание профессий («Садовник», «Бухгалтер»), даже болезней («Малярия»). Кое в чем он явно испытывает встречное влияние Н.Заболоцкого, Н.Олейникова, на ко-

торых повлиял в свое время прежним своим творчеством, — например в стихотворении «Бухгалтер»:

Читай, бухгалтер, вслух стихотворенье
Из книги называемой Гроссбух.

Весь цикл называется «Под микроскопом». В нем Нарбут стремится к научной объективности, стараясь избегать лирического отношения к изображаемому (что не всегда ему удается), опираясь на свой прежний позитивистский опыт. Пытается он освоить и научно-фантастическую тематику (стихотворение «Говорит Марс»). Нарбут создает кружок научной поэзии, в котором принимают участие также писатели М.Зенкевич, И.Поступальский, Д.Сверчков, молодой В.Шаламов (см. его неопубликованную статью «Нарбут и научная поэзия»). Кружок проводит несколько занятий, Нарбут делает о научной поэзии несколько докладов, в том числе в редакции «Красной нови». Однако путь этот был малоперспективен. Стихи этого цикла прозаичны, труднопроизносимы, прежний своеобразный словарь сменяется газетными советизмами — они не удовлетворили ни читателей его прежних стихов, ни критиков (Н.Оружейников в «Литературной газете», А.Селивановский). Советская критика требовала от писателей его поколения идейно-стилистической перестройки, а Нарбут, подобно некоторым другим, свернул на путь воспевания технического прогресса, и если в его советских стихах периода гражданской войны чувствовалась искренность, то теперь она сменилась дежурными идеологическими фразами-отписками. И лишь в нескольких стихотворениях этих лет еще чувствовался поэт, причем уже в новом качестве («Перепелиный ток»). Кроме подготовки к печати оставшегося неизданным итогового

сборника «Спираль», Нарбут занимается и побочной литературной работой — пишет сценарии фильмов «Дума про Опанаса», «Обновленная земля» (о Мичурине, о котором пишет и несохранившуюся поэму), «Энеида» (по поэме Н.Котляревского, которую кроме того собирается перевести на русский язык), издает сборник воспоминаний «Эдуард Багрицкий», готовит его «Собрание сочинений» в 2-х томах (1-й том вышел в 1939 г. уже без имени Нарбута).

Однако в период начавшейся очередной волны репрессий 26 октября 1936 года Нарбута арестовывают по так называемому «делу переводчиков с украинского» и этапируют на Колыму, где в марте 1938 г. он трагически погибает. Единственное дошедшее от него письмо к жене было, несмотря на обстоятельства, проникнуто оптимизмом, он начал писать новые стихи, вспоминал о Пушкине... Его многолетний друг и спутник в поэзии Михаил Зенкевич в неопубликованном стихотворении в сентябре 1940 года писал, перефразируя строчки его стихов:

Жизнь твоя загублена как летопись,
Кровь твоя стекает по письму!

СТИХИ
1906-1916

БАНДУРИСТ

Сидит сивый дед у дороги, играет
Перстами на старой, разбитой бандуре...
И струны рокочут, и струны рыдают,
Как отзвук далекой затихнувшей бури...
Как отзвуки бури затихнувшей в море,
Как гаснущий ропот валов отревевших —
То горе народное, темное горе,
Вспоенное болью в веках поседевших...
Тоска безысходная сердце терзает,
Как черная злая, полночная птица...
А струны рокочут и горько рыдают
И звуками скорбную строят темницу...
И сердце, и душу, и вольную волю —
Все отдал — незрячий — шляхам, да дорогам...
И плачет на старой бандуре про долю,
Про горе народа, забытого Богом.

1906

СЫРОЕЖКИ

Земля гудела от избытка
Дождей, рассеянных в апреле,
И малой бурою кибиткой
Коробился листок на солнце — прошлогодний.
На ивах иволги горели
Жар-птицею иногородней.

А в лесе почва паровала:
Пронизывало воздух дрожью,
И горб овражьего провала
Был наскоро опутан толстой паутиной.
Клубясь, пыля по бездорожью,
Шли тучи высотой пустынной.

И вот, когда на высшей точке
Стал полдень и схватились тени
С прямыми двойниками, тучи-одиночки
Счастливым ливнем облетели.
Цветов раскрылись лепесточки
Под градом призрачных падений
В лазоревом небесном теле.

И, приподняв листа кибитку
(Там, под березою, где пробежала стежка),
Хлебнув весеннего напитка,
Зарозовела нежно сыроежка...

А через час, скривившись набок,
Вторая вылезла, под зноем
Налившись капельками пота...
С сосны упал сучок – и хлябок
Был звук его в траве, похожей на болото.

Мотал паук по влажным хвоям
Свое гнездо. И покрывалом,
И недовязанным, и редким,
Сиренево-лилово-алым,
Сквозя в орешнике (чрез ветки),
Лежали сыроежки, как монетки.

1909

ЛЕВАДА

Ой, левада несравненная
Украинския земли!
Что мне Рим?
И что мне Генуя,
Корольки и короли?

В косовицу (из-за заработка)
В панские пойду дома.
Спросит девушка у парубка:
— Кто вы?
— «Брут».
— А звать?
— «Хома».

Усмехнется темно-розовым
Ртом — и спрячется в дверях.
И уйду Хомой-философом,
Весельчак и вертопрах.

Иволга визжит средь зелени, —
Нет, не птицы т а к поют.
Крокодил торчит в расселине:
Ящеричный там приют.

Свинтусу расстаться с лужею
Очень, очень не легко:

Дышит грудью неуклюжею,
Набирает молоко.

Супоросая!..
Под веткою
(Глубоко от клюва птиц)
Гадом, лысою медведкою
Сотня сложена яиц.

Пресмыкайся, земляной рак,
Созревай, яйцо-икра!
Мох — не мох, а мягкий войлок:
Яйца высидеть пора.

Сколько кочек!
Их не трогали,
Их не тронут косари:
Пусть растут, как и при Гоголе...

Ты со мной поговори,
Украина!
Конским волосом,
Бульбой был бунчук богат...
Отчего же дочка голосом
Кличет маму из-за хат,
Пробираясь наугад
Меж крапив и коноплянников?
А на ярмарке — одеж
Для красуль, монист и пряников
Тоже прежних не найдешь...

Украина!
Ты не та уже,
Все кругом в тебе не то...

На тебе — очипок: замужем!
Пусто молоко: снято!..
Как же быть Хоме с левадою,
Парубку: косить траву?..
Бурсаком на горб я падаю —
В лунном бреде, наяву.

Подыму полено медленно,
Стану бить по масти ведьминой —
От загривка до бедра...
В Глухове, в Никольской, гетмана
Отлучили от Петра...

А теперь — играй ресницами
Перед свежим женским ртом
Там, за бойней, за резницами,
Где мелкопоместный дом.

А теперь — косою, жаркою
От песка (с водой лохань),
Парубок, по травам шаркаю.
Подле — реченька Есмань...

Ой, левада!
Супоросого
Края бульбу держишь ты...
Доведешь ты и философа
До куриной слепоты!

1910

* * *

Сверкали окна пред грозой,
Как полированная сталь,
И дождь косой шел полосой,
И грохотала грузно даль.

Лес понижал и посерел
В колонне первой дождевой,
И хутор скорбно присмирел
И стал заплаканной вдовой.

Зернистый дождь по камышу
Покатых крыш застрекотал,
И в огороде чрез межу
Крапиву ветер закатал.

Но скоро шумное каре
Вождь тучевой к реке увел.
Сияет в млечном серебре
Березы влажной ствол.

* * *

Вода в затоне нежна, как мрамор
Голубоватый и сквозной,
В скалистом гроте гурьба карамор
Пережидает скудный зной.

Блестит сухая там паутина,
Белеет воздух — молоко,
А под вербою, зарывшись в тину,
Лягушка дышит глубоко.

ПОД ВЕЧЕР

Уж вечер недалек, и с поля тянет
Струей пахуче-ровной ветерок,
И знаешь: за пригорком сено вянет,
И цвет травы, как серый хром, поблек.

И утомленная теплом душистым
На отдых собирается земля,
Сафьяном золотеюще-лучистым
Закат грустя подернул тополя.

Уж скоро вечер золотым потопом —
С отливом зелени — зальет луга,
И осторожный сумрак по окопам
Канав сойдет, как призрак, в облога.

А ночь вновь будет душною и звездною...
Вновь из зарниц гудящих семя гроз
На нивы упадет, краснея, слезно...
Как пахнет теплой сыростью берез.

Густеет мгла... И глубиною стаи
Над садом снежные летят клочки,
Уж мчат, над черной липою блистая, —
Как будто смотришь в белые очки...

ТОРФ

Торф, слегка коричневый,
У спокойных зреет вод,
Мягкий, как волокна ваты,
И сырой — из года в год.

Глохнет он, покрытый илом,
Заложенный веком здесь,
Весь — подвластный тайным силам,
Весь — сожжений тайных смесь.

Огоньки по нем блуждают
В ночь пред душною грозой,
И туманы пеной тают,
Восходя к селу косой.

Погруженный в сон тяжелый,
Редко дышит ядом он,
Но тогда идет на долы
Тихий-тихий — странный звон.

И баюкает сень гая,
И колышет в поле ржи,
Умирая, угасая
Над росою у межи.

А на утро — тот же самый
Пласт лежит, как и лежал,

И на нем из черной рамы
Топь синеет, как кинжал.

Будто траурной каймою
Вся она обведена,
Не замерзнет и зимою,
И никто не знает дна.

Как-то глупая корова
Оступилась, подойдя, —
И пастух не слышал рёва
И узнал, лишь счет сведя!..

С тех пор стадо издалека,
Запоет, когда весна,
Торфяное видит око —
Темень грязного окна.

Ниже — руслом, измененным
Буйной полою водой,
Протекает полусонно
Мрамор ржаво-золотой.

И ручей — реки потомок,
Отошедшей, как Мамай,
Не болтлив, не быстр, не громок —
В мерном плеске струйных стай.

Нежный аир точит стрелы
На неведомых врагов
И в канаву смотрит смело,
Наклонясь от берегов.

Черно-синия стрекозы
Пляшут, крыльями звеня,

Облака белы, как козы
На горах в излучьи дня.

А под ними жадным оком
Торф глядится в небосклон,
Как во времени далеком
Утонувший рыжий слон.

ЗЕМЛЯНИКА

Раскрыла матовые листья
И белым цветом зацвела:
Май был Апреля серебристей,
В лесу теплом бродила мгла.

Цвела и снегом осыпала
В траве неровной лепестки,
Пока сама вся не опала,
Не стали пестики легки.

Тогда тянулась к солнцу ближе —
Как плохо малой быть весной.
Но солнце изгибалось ниже
И разливало марный зной.

И загорали, как румяна,
Еще незрелые плоды,
В себя вбирая сидр с поляны
Прозрачной дождевой воды.

Лес для старух уже постился
Грибною дружною гурьбой.
А день за днем назад катился,
Как шар стеклянно-голубой.

И вот, однажды, на рассвете, —
Когда Природа уж вошла

В знак Близнецов небесных, — дети
Толпой ввалились из села.

И ожил лес многоголосый:
Гам, трескотня, ау-ау,
Как ослепительные косы,
Срезали мерную листву,

И по полянке росно-сизой
Зелено-яркий лег след ног,
Меж тем как заревые ризы
Златили облачный чертог.

Горело утро. А ребята
В росе ныряли средь ветвей
И из-под бархатного мата
Искали ягод покрупней.

И кто в поливянную кружку
С чуть розоватым ободком
Бросал за красной дружкой дружку,
Приметя под кустом тайком;

Кто на высокую былинку
Низал ряды красивых бус:
А кто, снимая паутинку
С листа, уж ягод мягкий вкус

Во рту вдруг ощущал... И нежно
Там таял алый леденец.
И солнце в глуби безмятежной
Надело голубой венец.

Но девочка, закинув косы,
Дары сбирала земляник:

Жжет в ноги холод, каплют росы,
А профиль худенький поник

И, приподняв травы листочек,
Следит он умно над цветком, —
Как много золотистых точек
На спелой ягоде кругом...

ВИШНЯ

Налилась золотистая вишня
Соком алым, как кровь, как вино,
Почернела, обвисла в затишье,
Ожидая, что ей суждено.

Урожай от нежданного груза
Опустил гибких веток концы,
И на штамбе — зеленая блуза
Да побегов стальные концы.

Таял день, словно синяя льдина,
В накаляемом небе печи.
И сгорели гвоздики куртины,
Одуванчиков плыли мячи.

Но уж зацивиркали звонко,
Налетев стайкой из лозняка,
Дубоносы, и сели на тонкой
Затененой лучине сука.

И выклевывать косточки стали
Из вишневых монист наливных,
И носами — упругее стали —
Разжимать и расщелкивать их.

Солнце жгло розоватые плиты
У крыльца, где стояли два льва.
И была кровью свежей облита
Потемневшая вишен листва.

* * *

Кудрявых туч седой барашек
Над неба синей полосой
И стебли смятые ромашек
Следы забытые грозой.
Она промчалась над лугами,
Бесцеремонно грохоча,
И, издеваясь над ольхами,
Пугала лезвием меча.
Но ветер, хлынувший из рощи,
Как перья легкие, разнес
И облаков сквозныя мощи,
И хохот каменных угроз.
И день, склоненный полумраком,
Опять серебряно парит,
И солнце вновь расцветшим маком
В выси поднявшейся горит.

ОПЁНКИ

И.А.Бунину

Лесное золото опёнок
Покрыло урожайный год.
Уйдя из-под надзора нянек,
В кустах аукает ребенок
И голос звонкий подает.
А девочка у пня. Как пряник,
К коре какой-то гриб прирос.
И в бледном кружеве берез
Он розовато-нежен. Славно
В лесу безветренном, нешумном.
Вон, сквозь просеку, своенравно
Скирды желтеют по гумнам,
И кажется все детской сказкой:
Опёнки, золото и тишь...
Пред медуницей — синеглазкой,
Расцветшей поздно, в сне стоишь...
И числишь грустно и напрасно —
Как осталось немного дней,
Когда, как дети, мы прекрасно
Следим жизнь проще и ясней...

ОТЪЕЗД

Недолгий день, но долгий шлях
С каплицею на перекрестке:
Налет травы на куполах,
В решетке окон свечек блестки.

Уж пожелтел вербовый ряд,
Что протянулся по канаве,
Как курени, дубы горят,
Поля и межи кротко славя.

Солому срезанную нив
Связали паутины нити,
Чуть золотясь. Мой вол ленив,
О, ветры, бури хороните.

Прощай, Украйна, до весны.
Ведь в череп города я еду,
И будут сны мои грозны,
Но я вернусь к тебе, как к деду.

Я — смуглый отрок. А пути
Легли в винеющем тумане,
Прости и ты, прости, прости,
Курган в щите степных преданий...

Тоска разлучная в полях:
Связали пожени друг друга, —

Как жены с милыми в боях,
Уполз и шлях грядой до Юга.

Да и вверху — все волоса:
Сверкают ткани паутины
И снежных облаков коса
Чуть шевелится над долиной.

Прощай, Украйна. А вдали —
Уж в землю вросшая каплица,
И купола ее ушли,
Как шара два, как жар теплицы.

И только звездочка свечи
В вечерней мгле следит за мною,
Ты мне в окошко постучи,
О, ветер, раннею весною!

ОСЕННЯЯ ЗАВОДЬ

В осень светлую от клена
Опадали листья в заводь,
И вода рудо-зеленой
Стала, — негде уткам плавать.

Только там, где ключ кипучий
Живо бьет, бугор взметая, —
Под песчаной желтой кручей
Пропадает листьев стая.

Но туда не едут утки,
Зеленеют нежно лапки
Их в воде прозрачно-чуткой,
Клен бросает же охапки.

Листья бабочками плавно
Опускаются, как ряса,
А под кручей буйнонравной
Сыплет ключ свои алмазы.

ПОМОРЬЕ

С налету ветер кружит волны,
Кидая брызги в берега:
Песок студеный и безмолвный,
Узорят пенные снега.

Все ниже тучи, все серее
Их волокнистое руно.
А огонек на старой рее,
Качаясь, теплится давно.

О, эти сумерки морския
И их суровая печаль!
И дали низкия, глухия,
И пены тающая шаль!

И сколько непонятных жалоб
В ритмичном ропоте валов!
В заливе — скрип железных палуб,
А в море вой колоколов.

То там, за отмелью песчаной,
На ржавом якоре баклан
Гудит зловеще в мгле туманной,
Чернея властно, как курган.

Но долги сумерки и серы,
И вечер медлит, как тоска...

В скале отдушину пещеры
Заткали спицы паука.

Поселок дальний, чуть мерцая
Огнями узкими домов,
Стоит, как цепь сторожевая,
На хране честных рыбаков.

Кого-то дома нет, и жутко
Семье — баклана слышать звон,
Когда в молчаньи перепутка
Как будто отпевает он...

НАД ОСЕННИМИ ПРУДАМИ

Грозили буйные дожди
Избороздить стекло прудов,
Что на затерянном пути
Мерцали в глубине садов.

Гнал в зелень волн круги плетень
От обмелевших берегов,
Но тих и светел был мой день
В печали розовых песков.

На камне белом я сидел,
Гас подо мною известняк.
Я знал, я верил: мой удел —
Глубин обетованный мрак!

День красовался и сверкал,
Лепил карнизы-облака,
В пролеты их, как между скал,
Сквозил огонь издалека.

Цвела лазурь. И вереск цвел —
Лиловой кровью и густой,
И ржавчиной березы ствол
Чуть тронул медленный застой.

Как щит, как зеркало, лучист
Был ковш забытого пруда.

Оливку волн крыл бурый лист —
Плетня дубовая руда.

Уж осень тихая с высот
Мне в душу веяла тоской.
А поры мелких пыльных сот
Известки млели под рукой.

ГОБЕЛЕН

Зима уходила, рыдая
В сияньи безбурного дня,
И следом Весна молодая
Пришла, все в лесу зеленя,

Овраги гудят и бушуют,
Ломая сквозь челюсти лед,
И ивы корявые чуют
И Пасху, и с ней хоровод.

А солнце лучи, точно струны,
К земле протянуло, чтоб петь,
И гусли играют так юно,
Как звонкая, звонкая медь.

А шляхом, как барышня с бала,
Фуфыря густой кринолин,
Уходит зима. Ей опала —
Завявший в руке георгин!

На след осторожно ступая,
Уходит от юркой весны
Обиженно даль голубая,
Лишь банты от шляпы видны.

УТРО В СТЕПИ

Как скорпионы, взявшись цепью,
Перетянув свои бока,
Повисли так легко над степью
Светящиеся облака.
Ячмень по сторонам дорожки —
В холодной, голубой росе
Дрожит, и перепел сторожкий
Далече бьет да бьет в овсе.
Иду, вдыхая воздух свежий,
И праздничным все мнится мне:
Заглохшие в полыни межи
И перелесок в стороне,
И синева небес густая,
И тишь, и эти облака,
Уже плывущие, как стая
Белесых птиц издалека...

УКРАИНСКИЙ ВЕЧЕР

(Из цикла «Предківщина»)

Отчего я так люблю тебя,
Летний вечер на Украйне?..

Розоватые кораморы
Кругом носятся над лампой
Высь — утыкана гвоздикою:
Ворошится звездь живая;
А дуплистый сад прадедовский —
В темноте чернильно-жидкой.
Домовик идет конюшнями —
Домовито и с клюкою,
И глаза козла загадочно
Фиолетовым блистают.
Сплюшка ль, пуга ли погоныша
Рассекает топкий воздух.
В омуте под очеретами,
Тонкобровые русалки —
В синей зелени — не движутся:
Ждут луны — всползет нескоро.
Соблюдают свято очередь.
А которая шустрее:
Ну плыви, плыви к любимому,
Заласкай его, вздыхая.
Утопи в зеленой заводи,

Длинным пальцем вырви сердце...
Выпьет крови раскраснеется
Каждая спелей моркови,
Да утопленник растянется,
Словно пьяный в склизкой тине...
... Груша — колокол, иль яблоко —
Оборвался плод какой-то,
Но дыра за ним заштопана
Тишью — темною вдовою.
Звезды. Мать бренчит посудою:
Рано ужин. Стар и лаком — он:
Хлеб накрóенный ладонями,
Молоко в простом кувшине.
А на хуторе — томление:
Песни тающей неволя...
Отчего я так люблю тебя,
Летний вечер на Украйне?
Отчего — и сам не знаю...

ГРОЗА

Клубясь тяжелыми клубами,
Отодвигая небосклон,
Взошла и — просинь над дворами
Затушевала с трех сторон.
Вдоль по дороге пыль промчалась,
Как юркое веретено;
Трава под ветром раскачалась;
Звеня, захлопнулось окно.
Упала капля, вслед — другая
И зашумело по листам,
И длинный пламень высекая,
Загрохотало здесь и там...
Но так приветливо сияла
Лазури ясной полоса,
Что все и верило и ждало:
Сейчас — сейчас уйдет гроза,
И снова день прозрачно-яркий
Раздвинет синий свой шатер, —
И радуги цветною аркой,
Сквозя, оцепит кругозор!..

ШАРМАНКА

Стонет развалина-шарманка,
Сохнет и шелушится крик.
Серый акробат — обезьянка —
Топчется — сморщенный старик.
В окнах внимательные дети,
Ясные, синие глаза.
Весело жить на этом свете,
Даже если в сердце слеза!
Капай, одиночество, капай,
Чашу наполняй до поры —
Буду и я со шляпой,
Кланяясь, обходить дворы.
Но никто тебя не узнает,
Не узнает, мой давний друг,
Отчего шарманка шальная
Нас приковала вдруг!

ЗИМНЯЯ ТРОЙКА

Колокольчик звякнул бойко
Под дугой коренника,
Миг — и взмыленная тройка
От села уж далека.
Ни усадьбы, ни строений —
Только: вехи, да снега,
Да от зимней сонной лени
Поседелые луга.
Выгибая круто шеи,
Пристяжные, как метель,
Колкой снежной пылью сея,
Рвут дорожную постель.
А дорога-то широка,
А дорога-то бела.
Солнце — слепнущее око —
Смотрит будто из дупла:
Облака кругом слепились
Над пещеркой голубой,
И назад заторопились
Вехи пьяною толпой.
Закивали быстро вехи
Выбег ветер — ихний враг.
И в беззвучном белом смехе
Поле прянуло в овраг.
Под горой — опять деревня,
С красной крышей домик твой;

А за ним и флигель древний
Потонул, нырнул в сувой.
— Вот и — дома. Вылезай-ка
Поживее из саней!
Ну, встречай гостей, хозяйка,
Костенеющих — родней!
Снова кони, кучер, сани —
Оторвались от крыльца.
А в передней — плеск лобзаний,
Иней нежного лица.

1911

ВЕЧЕР СЕНОКОСА

В какой это рай и откуда
Возы за возами ползут?
Замазано небо полудой,
Отплывшей от облачных груд.
По-детски доверчиво светит,
Ресницей мигая, звезда
И в мир замирающий этот
Глядит из-под ряски пруда.

Качнулись и — тотчас окрепли
На мельнице в окнах огни:
Зовут по ухабистой гребле
Гостей незнакомых они.
А гости, громоздко ныряя
И сена теряя клоки,
Уверенно близятся к раю —
К ночлегу у горла реки.
И скоро в избушке незоркой
За тенью запрыгает тень,
Запахнет травой и махоркой
И телом, пригретым за день.
И долго еще и пытливо
Звезда будет с неба смотреть
На четкий двойник свой, на иву,
Простершая зыбкую сеть,

На мельницу (вот уж кривая!),
На сбитые в кучу возы, —
На все благоденствие рая
Мужичьей степной полосы.

1911

ЛЕТОМ

Уж солнце, отойдя к лугам,
Запало в глубь далеких рощ;
И по широким лопухам
Закапал редкий крупный дождь.
За буйною слезой слеза
Ударила в стекло окна;
Сверкнула молния в глаза,
Блеснула пламенем она, —
И гром раскатом дом потряс,
И серый сумрак двор закрыл...
И щедрый ливень добрый час
Шумел в саду и воду лил...
Затем, когда гроза ушла, —
Лужайка стала озерком,
И в небе радуга легла
Зеленоватым ободком.
Свистели иволги, и свист
Переливался и звенел;
Ручей болтал, журчал и пел,
И сад был ярок, свеж и чист...

1911

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Дохнули тучи низким вздохом,
Перекатился гулкий гром.
И — дождь серебряным горохом
Западал часто над бугром.
Метнулась молния мгновенной
Голубоватой лентой вниз
И, как гипюр, густая пена
У труб нависла на карниз.
Березы дружно зашумели,
Покорно головы склонив;
Но возле крон их еле-еле
Яснело небо, как залив.
Синело небо, улыбаясь
Улыбкой счастья и тепла;
И веткой каждой изгибаясь,
Береза жемчугом текла...
Роняла жемчуг на дорожки,
Тугие, словно полотно;
И запах роз, такой сторожкий,
Тянулся медленно в окно.

* * *

Снова август светлый и грустящий,
Снова тишь и неба синева;
Бродят вздохи, шорохи по чаще,
Звоны ветра слышатся едва...
Просипит кузнечик на припёке
И заглохнет. Пахнет листопад.
Листья льнут к земле, как лежебоки;
Перегной лесной ореху рад.
И дубы уже роняют жолудь —
Колобками скатанный янтарь.
Если хочешь зря посвоеволить,
Подойди к дуплу и в сук ударь.
И в ответ — не гулко и не глухо —
Звякнет домовитое дупло:
Дремлют в нем теперь жуки и мухи.
Все, что смутно к лету отошло.
Все, что было раньше непонятно,
Стало ясным, чистым, как хрусталь:
Эти звуки, эти тени — пятна,
Эта леденеющая даль!
Оттого-то небо умиленней,
Блеск от солнца — суше и косей, —
И на кровью опоённом клене
Связки лап зарезанных гусей...

1911

НАКАНУНЕ ОСЕНИ

Уходит август. Стало суше
В родной степи. Поля молчат.
Снимают яблоки и груши:
благоухает ими сад...
Кой-где и лист уже краснеет
И осыпается, шурша...
В истоме сладкой цепенеет
Моя усталая душа...
Окончен труд — и опустели
луга и желтые поля;
И вот на той еще неделе,
я слышал крики журавля.
Они тянули цепью дружной
на юг, за синие моря,
туда, где Нил течет жемчужный,
струей серебряной горя.
Там у высокой пирамиды,
свалив дороги долгий груз,
они быть может вспомнят Русь —
родные боло́та и виды...
Как будто с каждою минутой —
прозрачный, реже тихий сад...
А небеса стеклом сквозят...
И грустно-грустно почему-то...
Не то я потерял кого-то,
Кто дорог был душе моей,

Не то — в глуши родных полей
меня баюкает дремота...
Но только жаль, так жаль мне лета,
Что без возврата отошло,
И словно ворона крыло
Меня в тиши коснулось этой!..
Природа мирно засыпает
и грезит в чутком полусне...
Картофель на полях копают,
И звонки песни в тишине.
И — эти звуки, эти песни,
Навек родные, шепчут мне:
хотя на миг, хотя во сне,
О, лето красное, воскресни!

СЕНТЯБРЬ

Неранний утренник посыпал пеплом двор,
Толченый мел осеребрил и лопухи, —
И за ночь запотевшее окно без штор
Туманом выявило контуры ольхи.
Над нею, за амбаром, лиловатой паклей
Ночной дымок процеживает слабо дали:
Пары полей давно сурепицей иссякли
И яровые в желтизне поувядали.
Несбыточным и грёзой грустною томимый,
Задумавшись, ружье и патронташ цепляю,
Свищу собаке и — под сонной схимой
Рудое жниво обхожу — до речки края...
И нехотя, и редко-редко перепелка
Подымется, зачекает: убью иль сядет?
Но в теплую преображается двухстволка
Холодная, как кровь: пошевельнулся прадед.
И нечто, что всегда в душе лежало тайной
Встает ростком из глубины моей и — светит;
И быль глухой Литвы, вспоенная Украйной,
Меня опять-опять как мальчика приветит!
И радостно и горестно стоять — ходить
По жнивьям, сизым и осенним, в полумгле!
Как, тая, каплет зелень поздних звезд — следить,
Экстрактором царапать знаки на стволе
И всюду чувствовать волхвующую нить!..

ОКТЯБРЬ

На свежем утреннике в парке
Люблю бродить, люблю шуршать
Листвой багряною и яркой,
И утро тихое встречать.
О, как прохладно это утро
Последних чисел октября!
Трава, усыпанная пудрой:
То иней лег, снежок даря.
Морозный воздух — туг и колок
И по-иному как-то юн,
И от верхов косматых ёлок
Плывет напев незримых струн...
Брожу, брожу... А за забором
Стоят овсяные скирды;
На гребне их резным узором
Уселись серые дрозды,
И не кричат, продрогли птицы...
И сердце чует в тишине,
Что скоро даль осеребрится
И степь застынет в белом сне...

1911

СОНЕТ

Шумит вода, взбегая на колеса,
И тают, тают пенные клочки...
И серым, влажным облаком у плёса
Висят туман речной и пыль муки...

И так весь день. А даль реки — белёса,
Над очеретом блеют кулики,
На кровле мхом покрыты скаты теса,
И разрушенья дни недалеки...

Изба ветшает. Но с какой заботой
Тяжелые вертятся жернова!
И кажется сквозь шум шуршат: «Работай» —
И повторяют вечные слова:
— Трудись, трудись, пока тебе дано
Растить и перемалывать зерно!..

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Ударила жезлом студеным
Зима о низкий бережок
И — речка стала по затонам
И запушил поля снежок.
На взгорье — город. Колокольня
Вонзила в синь иглу креста.
Несется тройка все раздольней,
Трель бубенцов, как лед, чиста.
Мелькают ветлы по дороге,
В овраге приютился скит.
А в небе месяц двоерогий
Подковой бледной уж стоит.

1912

ЗИМНЕЕ ОДИНОЧЕСТВО

В холодном доме — шепот, шорох...
А за окном синеет ночь, —
И пятна серые на шторах
Мне выносить уже невмочь.

То, может, месяц... А вернее,
То — блеск таинственный снегов
Ночь караулит... И за нею
Простёрлось море — без оков...

Снега — вспенённая пустыня,
Застывший океан — снега.
Иглист и хрупок тонкий иней,
Упавший на-лес, на луга —

Мечта мечту в душе торопит,
Бессильна сказка о былом.
В холодном доме — шорох, шепот...
И ночь синеет за стеклом...

1911

НОЧЬЮ

Река под месяцем уснула
И чутко встала тишина.
Но чу! Не рыба ли плеснула
Зеленой влагою со дна?

Иль Водяной то колыхнулся
На ложе тинистом в яру
И паутиной протянулся
По голубому серебру?

Да, заводь сонно голубеет,
Серебряно бегут круги
И месяц яркий фосфор сеет
На ив мохнатые верхи.

И всё таинственно и жутко
Погружено в тревожный сон...
Колдует тишина да чутко
Тростник роняет легкий звон...

1911

ВЕРБНАЯ СУББОТА

Мне не забыть субботы вербной
И улетевших детства дней.
Всё было вымыслом наверно
Иль отражением теней?

Вот, как сейчас, я — будто в храме.
Суббота... Сумерки и тишь...
Перед амвоном, образами
В благоговении молчишь...

Молчишь и ждешь того мгновенья,
Когда получишь вербы ветвь,
Чтоб с этой ветвью в мрак весенний
Пойти, неся благую весть.

И вновь, как и во время оно,
Сам сердцем чувствуешь: Христос
Под гул ликующего звона
Потоки осушает слез!..

УРОЖАЙ

Золотистого хлеба снопы
Словно витязи на поле встали...
О сверкайте, сверкайте, снопы,
Уходите со жницами в дали!..
Пусть везде замечает мой взор —
Только рожью богатый простор
Да высокое синее небо...
Уж не видно нигде васильков:
Отошло их счастливое время;
Лишь разносится гул голосов
Над полями созревшими всеми:
То деревня семьей — стар и млад —
Убирает, что добыто потом...
А кузнечики дружно трещат
На лугу за белесым осотом...
О сверкайте ж, сверкайте, серпы,
Уходите со жницами в дали,
Чтобы тучного хлеба снопы
Золотистыми копнами встали!..

СНЕГ

Воздух вновь кипит и пляшет
И смутнее виден сад —
Кисеей ли небо машет,
Мухи ль белые летят?..
Иль быть может сокол смелый
Гонит стадо лебедей
И роняет пух их белый
На простор пустых полей?..
Серебристой паутиной
Вьется частый-частый снег,
Чтоб над вялою куртиной
Призамедлить легкий бег.
И зачем он так прилежно,
Как заботливая мать,
Стелет полог белоснежный,
Стелет мягкую кровать?
Ведь ни астре, ни левкою
Встать уже не суждено:
Их мороз убил, рукою
К ним дотронувшись, давно.
Вьется снег... Как будто надо
Всё навеки усыпить,
Нищету куртин и сада
Белым саваном покрыть!..

1913

* * *

У перекошенной каплицы
Упала шапка клена наземь.
Пищат по-девичьи синицы
И влажно молодеет озимь.

Свежа, упруга озимь — эта
Хвоя, густая, земляная,
Но в яркой зелени — примета,
Что до весны не капнет зноя.

По вечерам овчарки брешут,
И голос их сверлящ и меток.
И бледный Млечный Шлях мережут
Волокна спутанные ниток.

А крот — ослепнувший отшельник —
Копает звонкую дорогу
И точно кропотливый мельник,
Муку́ земли несет к оврагу...

И потемневшая каплица,
И обезлиственная крона —
Глаголят: Осень разъярится
Сегодня очень, очень рано...

1913

* * *

Слежу, кощунственно крестясь,
Как выцвела бумага неба:
И голубая ипостась
Над спорыньевой магмой хлеба,
И певней дудочки текут
В усталом воздухе — без ветра.
Но все же, осень в мой закут
Вошла, нельзя сказать: не щедрой:
— Пригоршни сизых чернослив,
Бокатых груш сырая горстка
И (вдруг!) — антоновских налив
И дынь сухая шерстка!..
Не надо чуда: поцелуй,
И кротко спи, мечту лелея,
Что станет бисерной аллея:
Низинный ветер, дуй — подуй.

1913

* * *

Заходит. Изредка шальной
Зеленый меч прорежет штору,
И пыль прозрачною копной
Пойдет, вися, по коридору

А за стеклом — и дня-то нет:
Затишье, сумрак волосатый.
Раздвинув веками просвет,
Худые тополи — над хатой.

Еще чиликает сверчок,
Но, ах, как жаль ему теплыни!
И выжимает месяц сок,
И долог невод цепких линий.

1913

ВЕНЕРА

Метлой грозы иль ярою косой —
Расчищен запад мыльно-серый:
Повисла бледно-алою слезой
Над ветхим флигелем Венера.

Звезда любви, грозы, звезда охоты —
Дрожит, меняя ипостась,
И каждый раз (а раз, пожалуй, сотый) —
То кровянясь, то золотясь...

Звезда заката, возвращенья,
Отхода утром, на заре — звезда —
Тропу следила отлученья,
Как страж — грядущего отмщенья мзда.

В себя всосала кровь густую птиц
И разжижила в юном зелье
И гневною слезой повисла ниц,
Дурманя хутора веселье...

1913

ДО РАССВЕТА

Большая Медведица стала на голову
И — близок холодный, как мрамор, рассвет:
Роса уподобилась прыткому олову,
Свернулась и — каплями клевер одет.

В дворе над простой голубой голубятнею,
Где голуби белые дружно живут,
Струится воркующий рокот — все внятнее:
Счастлив голубиный лучистый приют.

Уже табунятся (еще до блистания),
Чтоб вместе, как тучка, нырнуть в небеса.
И вместе воркуют, ликуя заранее:

Придет — воссияет лазури краса!
И тихо, так тихо. Заботливо звездится
В тиши голубиная песня. Смотри:
На голову стала Большая Медведица,
Пророча кокошник мурастой зари.

1913

ОХОТНИК

Стеклянный взор усопшей птицы,
Убийства ангельский позор —
Влечет охотник смуглолицый
В бездумный синий кругозор.

Но всех похитчиков счастливей
Он возлюбивший весь и кровь!
— Пусть душегубка там, в заливе,
Скоблит волны тугую бровь;

Пусть груз, мертвеющий в ягдаше, —
Не больше, чем омёт куста, —
Но тишины небесной краше
Ему — земная маята.

СВЕТЛАЯ ОСЕНЬ

Осень светлая пришла,
Лес дыханием зажгла,
На березы и осины
Намотала паутины,
Разрумянила дубы.
И в окно и в дверь избы
Горстку вялых листьев кинув,
Вдруг впустила дым овинов,
И подсохнувшим зерном
Потянуло за окном...
И еще запахло мятой
И крапивою лохматой,
Той, которая растет,
Где пустырь иль огород.
А когда потом к закату
Я пришел из леса в хату,
Все казалось, что вот-вот
Осень в комнату войдет:
Обведет усталым взором
Стул и столик, за которым
(Хромоног он, бел и мал)
Я ей песенки слагал,
И промолвит с лаской
«Здравствуй!»

ИЗ ОКНА

Мохнатый конь на водопой протюпал
(И как глазам глядеть не надоест),
А галки облепили лысый купол
И, верно, приторговывают крест.
О, черноземная весна! Ты снова,
Меся, готовишь тесто из земли,
Чтоб на густых дрожжах дождя парного
И ярь и плевелы буйней взошли.
Новозаветная, ты и Исуса
Приняла вещие слова, весна:
Несешь отяжелевшие от груза,
И добрые, и злые семена.
На колокольне — голуби, а галки
Торгуются у самого креста,
И речь их — стук веретена на прялке —
Длинна и металлически чиста
Протюпал конь, а у него на гриве
Из сбившихся репейников колтун,
И немощь некую в твоем разливе,
Весна, подметит всякий, кто не юн!

АНИЧКОВ МОСТ

Четыре черных и громоздких,
Неукрощенных жеребца
Взлетели — каждый на подмостках —
Под стянутой уздой ловца.
Как грузен взмах копыт и пылок!
Как мускулы напряжены!
Какой ветвистой сеткой жилок
Подернут гладкий скат спины!
Что будет, если вдруг ослабнет,
Хрустя, чугунная рука
И жеребец гранит царапнет
И прянет вверх от смельчака?
Куда шарахнутся трамваи,
Когда, срывая провода,
Гремящая и вековая,
На Невский ринется руда?
Не тот ли снова властно сдержит
Несокрушимый этот вал,
Кто сам стремится, длань простерши,
Кто даже бурю усмирял?
И не пред ним ли цепенеют,
Опять взлетевши на дыбы,
Застынув, как пред оком змея,
Крутые конские горбы?

* * *

Как нежен, наивен и тонок
Затерянный в нивах напев!
Дудит и дудит пастушонок;
Березы висят, откипев.
Дорога уходит за гумна,
И падает медленный мрак,
И дышит зарница бесшумно,
Из мглы вырывает ветряк.
Иду по дороге и — мнится,
Что вместе со мною и ты:
Бессонные никнут ресницы,
Тяжелой слезой налиты.
Ты веришь напеву, и душу
Он тянет и выпьет до дна.
Ты дудочки больше не слушай:
Из дерева только — она!
Уйдем и погибнем в безгрозьи,
Так сладко забыться навек
Средь поля, где шепчут колосья,
Что каждый из нас — человек!
Архангел сверкает далече
Широким и плоским мечом...
Душа ты моя человечья,
Не плачь и не пой ни о чем!

1911-16

ТЕЛЕПЕНЬ И ЕГО СЛУГА

Ражий помещик
(Длиннющие руки
И широченная лапа-ступня),
Влезши в короткие
(в клеточку) брюки,
Брюзгнет, как перепел, день изо дня.
Что-то знакомых не видно давненько,
Законопатился в отчем и сам...
Вон на крыльце
(на парадном) ступенька
Плесенью кроется:
Ей бы — ко мхам.
Скоро, пожалуй, и крыша из теса
Рухнет,
Расплющив чердачную ларь...
Только лукавые —
В сажень — колеса
Катят карету,
Отживший фонарь.
О, как торжественно,
В праздник, стремится
В город,
Влекомая парой коней!..
Спицы мигают,
По тракту дымится,
А на запятках —

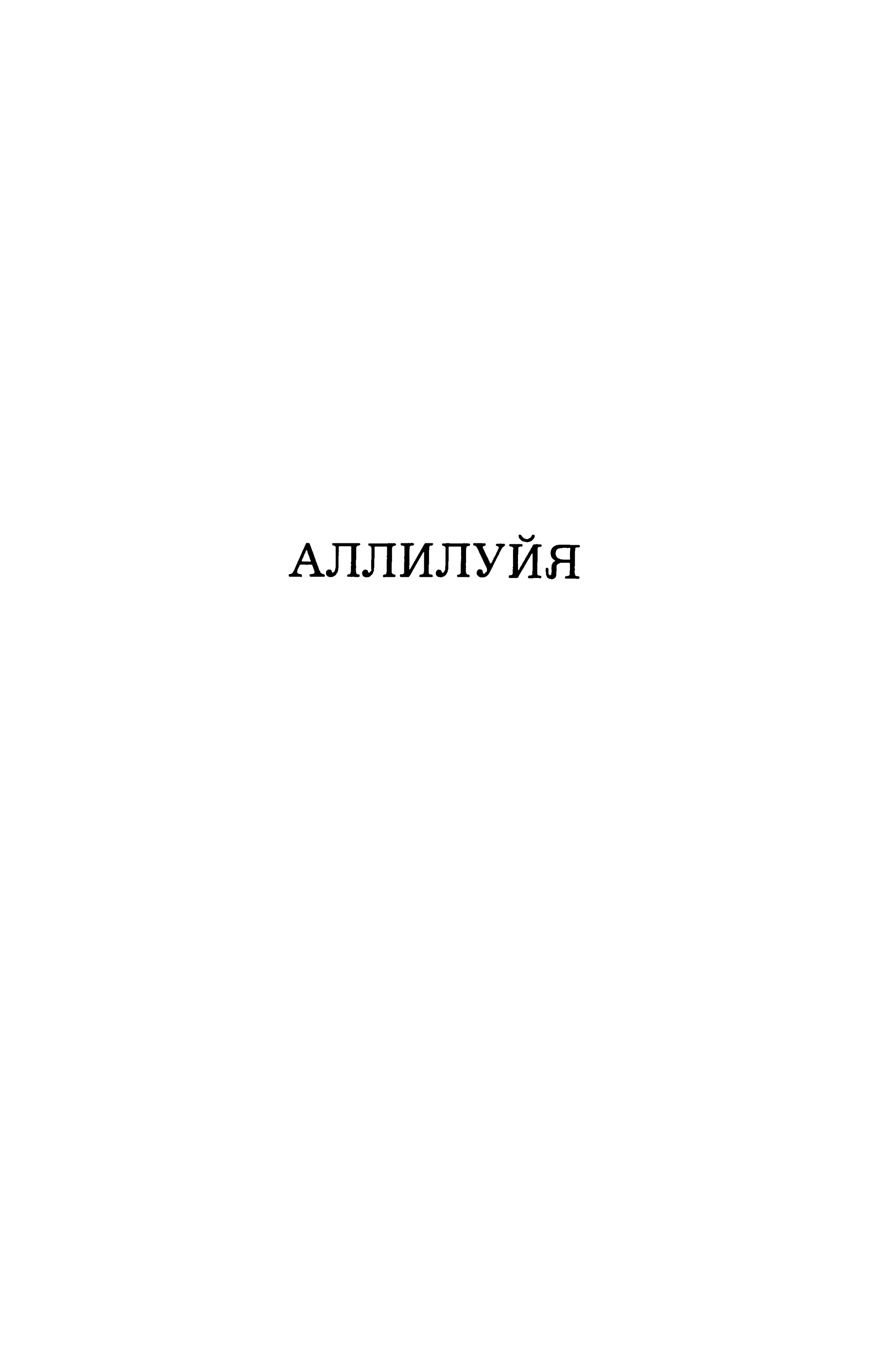
В ливрее лакей.
Пуху подобно
Расчесаны баки,
Выбрил старательно старый усы...
Будка.
Баштаны.
Отхлынули злаки, —
Брешут и к дышлу кидаются псы.
Весело телепню:
Стонут подковы,
Девки, шарахаясь, липнут к плетню.
И расправляется
Глоткой здоровой:
— Эй, вы, такие-сякие, тю-тю! —
А на запятках,
Прижавшись, как муха,
И расползаясь улыбкой на крик, —
Вежливо клонит
(К окошечку) ухо
В траченной молью ливрее
Старик.

1911-1912

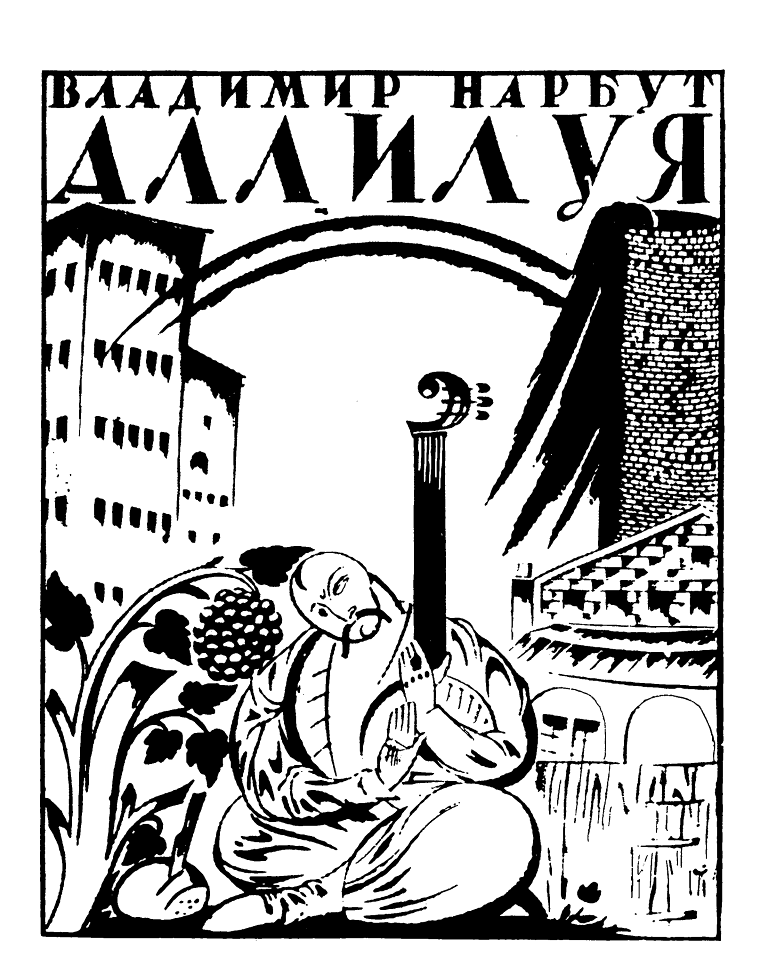
ДОМОВОЙ

Спустился с сеновала нынче позже
И тотчас, вынырнув из темноты,
Ощупал лапою мохнатой вожжи,
Чересседельники и хомуты.
Ступил и — зацепился за метелку,
И, при мерцаньи тусклом фонаря,
Ее и заступ положил на полку,
Чтоб не валялись под ногами зря.
Потом полез туда, где стойло было,
Полез и на спине мешок понес,
Скосив глаза, тяжелая кобыла,
Пофыркивая, приняла овес.
Расчесывать стал гриву, заплетая.
В косички долгие ее плетет.
А грива-то густая-прегустая:
Запутаешься кажется вот-вот.
Темно в конюшне. Сеном пахнет душно.
И четко-четко слышно в тишине,
Как грубый конь жует овес послушно,
И кучер что-то говорит во сне...
В конюшне — тишина. А с огорода
Доносится собачий хриплый вой...
И, слушая его, рыжебородый
Сопит и вздрагивает домовой.

1913



АЛЛИЛУЙЯ


ВЛАДИМИР НАРБУТ
АЛЛИЛУЯ

Хвалите господа в земли, змиеве и вся бездны; огнь, град, снег, голоть, дух бурен, творящая слово его; горы и вси холмы, древа плодоносна и вси кедри; звериё и вси скоти, гади, и птици пернаты; царие земстии, людиё, князи и вси судии земстии; юноши и девы, старцы с юнотами. Да восхвалят имя господне.

(кад. к҃, псалом р҃м҃и)

НЕЖИТЬ

Из вычурных кувшинов труб щуры и пращуры
В упругий воздух дым выталкивают густо,
И в гари прожилках, разбухший, как от ящура,
Язык быка, он словно кочаны капусты.
Кочан, еще кочан — всё туже, всё лиловее —
Не впопыхах, а бережно, как жертва небу,
Окутанная испаряющейся кровию,
Возносится гора. Благому на потребу.
Творца благодарят за денное и нощное,
Без воздыханий, бдения — слепые чада.
И домовихой рыжей, раскорякой тощею
(С лежанки хлопнулась) припасено два гада:
За мужа, обтирающего тряпкой бороду
(Кряхтел над сыровцом), — пройдоху-таракана
И за себя — клопа из люльки, чуть распоротой
По шву на пузе, — вверх щелчком швыряет рьяно.
Лишь голомозый — век горюет по покойнице:
Куда занапастилась? — чахнущий прапращур
Мотает головой под лавкой да в помойнице
Болтается щурёнок: крысы хлеб растащат.
И булькая, прикинувшись гнилой веревочкой,
Он возится, хопая корки, реже — мясо,
Стегает кожуру картошки — ёлка-ёлочкой,
И, путаясь, в подполье волочит всё разом.
А остальные: — Эй, хомяк, дружней подбрасывай! —
Сопя, на дворника оравой наседают:

Он днём как крестовик шатается саврасовый,
Пищит у щеколды, пороги обметает.
Глотая сажу дымохода, стоя голыми
Иль в кожухах на угреватых кирпичинах,
Клубками турят дым, перетряхая пчёлами,
Какими полымя кусало печь в низинах.
Но меркнет погани лохматой напряжение:
Что ж, небо благодарность восприяло втуне:
Зарит поля бельмо, напитанное ленью,
И облака под ним повиснули как слюни.
Шарк, — размостились по углам: вот как на пасеке
Колоды, шашелем подточенные стынут.
Рудая домовиха роется за пазухой,
Скребет чесалом жесткий волос: вошь бы вынуть.
А в крайней хате в миске-черепе на припéчке
Ухо задёргивает плёнка перламутра,
И в сарафане замусоленном на цыпочки
Приподнялся над ней ребёнок льнянокудрый.

ЛИХАЯ ТВАРЬ

Летела возвращавшаяся назад метла,
на которой, видно, только что съездила,
куда нужно, ведьма...

Н.В.Гоголь.

I

Крепко ломит в пояснице,
Тычет шилом в правый бок:
Лесовик кургузый снится
Вёрткой девке — лоб намок.
Напирает, нагоняет,
Рявкнет, схватит вот-вот-вот:
От онуч сырых воняет
Стойлом, ржавчиной болот.
Ох, кабы не зачастила
По грибы да шляться в лес —
Не прилез бы он постылый,
Полузверь и полубес;
Не забрел бы, не облапил,
На кровать не поволок!
Поцелует — будто пепел
Покрывает смуги щек.
И ползет на уго угол,
По горшкам гудит ухват,

На полице — куча пугал,
Свет очей их — рыжеват.
Кошка горбится, мяучит,
Ёжась, прыскает, шипит...
А перину что-то пучит,
Трёт культяпками копыт.
Лапой груди выжимает,
Словно яблоки на квас,
И от губ не отнимает
Губ колючих, что карась.
Отпихнула локтем острым:
Насосался и отпал.
И бормочет: «Милка, сестрам
Не рассказывай»... Устал.
Две сестры из тухлых дупел,
Два тушкана из норы —
Стерегут, чтоб не насупил
Братец пущи до поры:
Чуть закатится из гущи,
Молонья как полоснёт!
Невод шумный и текущий
Разорвет кресты тенёт!
И трясись, покуда братца
Не пригонит в лес рассвет
И ручьи не затаятся,
Между пней взъерошив след...
Да проспали, проглазели:
Лопнет сук — улепетнул
И у ведьмы на постели
Пот стирает с жарких скул.
Целовал, душил и — нету,
Точно прянул в потолок.
Ведьма ногу — ту и эту —
Щиплет, божится: утёк!

Давит прелью и теплынью,
Исподница — горяча,
Мал он, логово — полынью
Оцарапал у плеча.
И утёк. И плачет кошка:
Не зашиб ли кто ее?
В стекла узкие окошка
Месяц втиснул лезвиё.
Приключился цепкий вывих
С половицей, где — порог;
И на прялке, как на гриве,
Без мешка застрял творог.
Миски дочиста прибиты...
Без мешка застрял творог.
Девка ахнула во мгле:
«За корявые копыта
Попрошайничать в селе?!
Погоди! Коли уж этак —
Потаскаешься тайком!»
Решету оконных клеток
Погрозила кулаком.
И схватив вихрастый веник, —
На метле, да в печку пырь!
Зирь, — кружочки ярких денег
Месяц сеет — вдоль и вширь.
Мотыльками засыпает,
Кормит яри молоко.
И несется, утопая,
Девка в небе высоко.
Вон всклокоченной над степью
Кувыркнулась. С нами Бог!
А в гнезде ее — черепья,
Немощь плоти да творог...

II

С.Судейкину

Как махнет — махнет — всегда на макогоне
Отбиваться от шишиги по пути
(Ущипнуть, ехида, норовит), а кони —
Да таких других и в пекле не найти!
Приставал репьём, чуть выскочит за бани:
«— Эй, кума, куда нелегкая несет?»
Тут по челюстям, потылице в тумане
Накладет ему: лежнюга да урод!
Ржаво-желтой волокнистою, как сопли,
Сукровицею обтюпает, а он
Высмыкнется узловатою оглоблей,
Завихрится, колыхаясь, в небосклон.
Пропадом — пойдет — писать — напропалую,
Расчухмаривать, расчесывать виски,
И — бывало, Святками, свистит, не чуя,
Как мороз щекочет пяток пятаки!..
В пригороде всем раскидисто живется —
Парубкам, девчатам, бабам матерым:
Посудачить вдоволь можно у колодца —
Над окном кисельно-мутным: ледяным.
На ночь (клуба бестолкового не надо)
Где-нибудь в каморе табуном засесть,
Чтоб, попаровавшись, шибко на усладу
Променять (малина!) отрочества честь.
Только выдумали прихвостни затею,

Несуразную достаточно-таки:
Сплюснутым жгутом лупить, да покрутее,
Кто зевает простофилей — «в дураки».
«В дураки» — еще туда-сюда, поладить
Довелось бы, а за «ведьмой» — прямо грех:
Улюлюкают и — шепелявый прадед
(Порохня уж сыплется, и тот — на смех!)
Мочи — нет! Навозом рыла забросать бы,
Порчу на насмешников бы напустить!
Бойся: вырежет следы-то от усадьбы,
В глине запечет и — квит: никак не жить!
А смерком и на волос, дрожа, нашепчет
И дворняге кинет в хлебном колобке:
И сгниет соперница. Чернявый крепче
По косе зажурится да по руке.
Руки, руки! Подколодные гадюки!
Бухнись с нею на жестяный на сундук
И — подхопишься, когда петушьи звуки
Пересилит выкованный солнцем стук.
Ох, разнузданно — не желобами — льется
В закоулках пригорода житие:
Жеребцов на бой пускают у колодца,
Барышни, хихикнув, щурятся в окне.
Жалостно проржав, вдруг рушатся на крупы
Самок разухабистые жеребцы:
Выполаскиваются утроб скорлупы,
Слизью склеиваются хвостов концы.
Мощью изойдя в остервенелой случке,
Грузнут на копыта, а колени — клюв...
И подмышек заторопятся колючки
И мурашки, маком беленьким сыпнув,
Побегут по коже — чуть ли не до пальцев,
Словно омут, взбаламутится душа:
И на макогоне, вылизанном смальцем,

Ведьма выкатит за лопухи, шурша.
«— Чорт их подери, пусть тараторят после
В пригороде! Гайда, гайда, невтерпеж!
Не беда, что черняка он низкорослей,
Мерзостнее, пакостнее гадких рож!!!»

III

Луна, как голова, с которой
кровавый скальп содрал закат,
вохрой окрасила просторы
и замутила окна хат.
Потом, расталкивая тучи,
стирая кровь о их бока,
взошла и — желтый и тягучий
погнала луч издалека.
И в хате мшистой, кривобокой
закопошилось, поползло
и — скоро пристальное око
во двор вперилось: сквозь стекло.
И в тишине сторожкой можно
расслышать было, как рука
нащупывала осторожно
задвижку возле косяка.
Без скрипа, шелеста и стука
горбунья вылезла и — вдруг
в худую, жилистую суку
оборотилась и — на луг.
Цепляясь острыми когтями,
перескочила через тын
и — вот прыжки несут уж сами
туда, где лег кротом овин.
А за овином, в землю вросшим, —
коровье стойло: жвачка, сап.

Подкрадывается к гороже,
зажавши хвост меж задних лап.
Один, другой, совсем нетвердый,
прозрачно-легкий, легкий шаг
и — острая собачья морда
нырнула внутрь, в полупотьмах.
В углы шарахнулась скотина...
Не помышляя о грехе,
во сне подпасок долгоспинный
расплюхнулся на кожухе,
и от кого-то заскорузлой
отмахивается рукой...
А утром розовое сусло
(на молоко!) пошлет удой.
А если б и очнулся пастырь,
не сцапал ведьмы б все равно:
прикинется метлой вихрастой,
валяется бревном-бревно.
И только первого помета
опасен ведьмам всем щенок!
Зачует — ох! — и огороды
гребет ногами: наутек.
И после, в хате, колкой дрожью
Исходит, корчась на печи,
как будто смерть по придорожью
несли в щенке луны лучи.

ПЬЯНИЦЫ

И чарка каторжна гуляе по столи.
Е.В.Гребёнка

Объедки огурцов, хрустевших на зубах,
бокатая бутыль сивухи синеватой
и перегар, каким комод-кабан пропах, —
бой-баба, баба-ночь, гульбою нас посватай!
Услонов-растопырь склещился полукруг,
и около стола, над холщевой простынью,
компания (сам — друг, сам — друг
и вновь сам — друг)
носы и шишки скул затушевала синью.
И подбородки — те, что налиты свинцом
И вздернуты пото́м (как будто всякий — потрох)
так — нитками двумя, с концами, под лицом
заштопанными вкось, где скаты линий бодрых, —
замазала она, все та же стерва — ночь,
все та же сволочь — ночь, квачем своим багровым.
Ах, утлого дьячка успела заволочь
под покуть, — растрясти и заклевать под кровом.
Да гнется — и майор, и поп, и землемер,
обрюзгший, как гусак, под игом геморроя.
Надежен адвокат:
«Аз, Веди, Твердо, Хер», —
ударился в букварь: «Глиста — вы, не герой!»
и чаркой чокнувшись с бутылью, — попадье:
«Ее же, мать моя, приемлют и монаси!»

Дебёла попадья.
«— Не сахар ли сие?» —
И в сдобный локоть — чмок.
А поп, как в тине, в рясе.
Торчмя торчит, что сыч.
Водянкой буйной глаз
под гусеницей стал в коричневом мешке:
Мерещится мозгам, что сволок — вон — сейчас,
ей-богу, плюхнет вниз и — смерть невдалеке.
Вояка свесил ус и — капает с него.
...Под Плевною редут заглох: бурлит Осман:
в ущельи таборов разноголосый вой,
а на зубцах завяз, как бламанже, туман.
Светлеет. Бастион...
Спросонья: «Ро-та, пли!»
И землемер вихры встопорщил, как прусак,
на шелушистый лук набредши из щели:
не заблудиться б тут, да не попасть впросак.
И все, как жерла труб, в разымчивом угаре.
Лишь попадья — в жару: ей впору — жеребец.
Брыкаясь, гопака открамсывают хари,
и в зеркальце косом, в куске его — мертвец.
— Эге, да он, кажись, в засиженном стекле
похож на тот рожок, что вылущила полночь!
А муха все шустрей — пред попадьей во мгле —
зеленая снует, расплаживая сволочь.

ГОРШЕЧНИК

И.Я.Билибину.

Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотой; местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвастливо выказывалась из высоко взгроможденного на возе плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши.

Н.В.Гоголь

В кляксах дегтя шаровары у горшени
и на выпуск полосатая рубаха;
пояс — узкий ремешок.
А в пышном сене —
за соломенной папахою папаха.
Златом льющейся, сверленою соломой
гнезда завиты: шершавый и с поливой,
тот — для каши, тот — с утробой, щам знакомый,
тот — в ледник — для влаги, белой и ленивой.
Хрупко — звонкие, как яйца, долговязы,
дутые, спесивые горшки-обжоры —
нежатся на зное, сеющем алмазы
на захлестнутые клевером просторы.
А за клевером пшеницы наливное

желтое-прежелтое сухое поле
рясным шорохом кузнечикам на зное
пособляет гомонить о ясной доле...
Вперевалку, еле двигая рогами,
мордою тупою и зобатой выей —
мерно тащатся волы над колеями,
и глаза их — лупы синие, живые.
Деревянное ярмо квадратной рамой,
ерзая, затылок мшистый натирает...
Господи!
                    Как и пред пасхой, тот же самый
колокольчик в небе песню повторяет!..
Вьется — плачет жаворонок-невидимка
(ты ль то, ангелок серебряно-крылатый?);
он — и под заимкой, он — и над полями,
                    он — и над колодцем, у присевшей хаты.
Скрипнул воз.
                    — «Горшки, горшки», — скороговоркой,
женщине веснушчатой, в короткой юбке,
молвит человек, оглядываясь зорко,
и плюет сквозь зубы, покопавши в трубке.
А волы жуют широкими губами
(тянут деловито мокрую резину),
проверяя ребра вялыми хвостами
у горожи редкой — перед жердью длинной.

КЛУБНИКА

Как скоропреходящи лучи обманчивого счастья:
Увы! Неужели гроб есть колыбель для человека?
В.Нарежный

Изволив откушать — со сливками в плоском
Горбатом сосудике — кофия рано,
Вдова к десяти опротивела моськам
И даже коту серой муфте с дивана.
Что делать на хуторе летом — в июне?
Отраву разложишь для мух да хлопушкой
Велишь погонять их увесистой Дуне.
Завяжешь в платочек (калекам) полушку.
— К обедне наведаться надо б: Купало
Подходит, а с Троицы лба не крестила.
Всё — некогда. Маврушка-нетель пропала
И до смерти с грыжей возня опостыла.
Сумбур в голове. От поганой касторки
Кишки и печенку на клочья порвало...
А ягод — что сметья! Присмотр нужен зоркий
Хозяйского ока: добра-то немало. —
Скорбит и болеет хозяйское сердце.
И Дуня посуду уже перемыла:
На блюдечке чашка (вверх донышком) с перцем,
Со злючкой-горчицей в шкафу покумилась.
И, шлепая пятками, девка в запаске
Замызганной, грудь, как арбуз, обтянувшей,

За лудку вильнула. Потом — за коляски,
В конюшню — к Егору, дозор обманувши.
И ляжкам кряжистым чудесно на свитке
Паяться и вдруг размыкаться, теряя...
А полдень горячий подобен улитке:
Ведь тени — под чадом — себя пожирают.
Занозисто душно (от сладости — тошно!),
Закрапана, рыхлая, россыпью пшенной,
Клубника в пару раздышалась и можно
Опиться воздусями, словно крюшоном!
И хволые девки, натолкши желудки
Утоптанной сытой квашнею, на блюда,
По грядкам ползя да ползя, как ублюдки,
Сгребают бескостную смачную груду.
Лишь изредка косятся на́ дом, который
Годами да бревнами в жабу раздуло:
Хозяйку за легкою ситцевой шторой
Совсем разморило в качалке — у стула.
Живот, под капотом углом заостренным
В колени уткнувшийся, слишком неровен:
Где впадиной вылился пах, — под уклоном —
Свихнулось одно из обглоданных бревен —
Не выкорчуют его даже и годы —
Владелицу с домом сугубо сцепили,
И может беспомощные эти роды
Они разрешат, просмердевши, в могиле!
И может плывучее рвотное масло,
В плечистых флаконах коснея покамест,
Достанет и до́ сердца щупальцем на́зло,
Дабы не пропели купальский акафист!..

АРХИЕРЕЙ

Натыкаясь на посох высокий, точеный,
с красноватой ребристою рыбьей головкой,
строго шествует он под поемные звоны:
пономарь тормошит вислоухие ловко.
Городской голова, коренастый и лысый
(у него со лба на нос стекают морщины),
и попы, облеченные в крепкие ризы, —
благочинный вертлявый, как весь из пружины,
и соборный брюхатый (ужели беремен?), —
заседатель суда, запятая-подчасок, —
все за ним, все за ним.
Бесшабашная темень
распылила по улице курево красок.
В кумаче да в китайке, забыв про сластены,
про возки, причитанья — торговки нахрапом
затирают боками мужчин.
А с плетеной
галлереи аптеки глядят эскулапы.
И скрипит мостовая от поступи дюжей,
и слюдой осыпается колотый воздух.
И в середке лавины, как в бане.
Снаружи —
босоногим подросткам — без роздыха роздых.
А в хвосте — на тяжелых горбатых колесах,
будто Ноев ковчег, колымага с гербами:
точно в гроб она прячет владыку и посох,

и в нутре ее пахнет сухими грибами.
Уж гречихой забрызганы чалые кони,
все же сунут развалину.
Угол и — церковь.
У, гадюкой толпа закрутилась: ладони
прикурнула колдобина, кисть исковеркав.
И жужжанье, и колокол — умерли оба,
только тонкие губы разверзлись и — слово
синеватые выжали десна.
Как проба,
в них засела частица огрызка гнилого.
И увяла рука.
И вверху зазвонили:
проглотила соборная пасть камилавку.
Завизжала старуха в чепце: придавили.
А на репчатой шее, как клещ, бородавка.

ШАХТЕР

Вин, взявши торбу, тягу дав.
Н. Котляревский.

Залихватски жарит на гармошке
Причухравши босяком шахтер...
В горнем черепе — не черви, — мошки,
Дробные да белые. На двор
Из-за тополей, такой сторожкий,
Крадется рогатый крючкотвор.
Брешут псы на хуторе у пана:
Осовелые овчарки там.
А панычь-студент, патлач румяный,
Шастает с Евдохой по кустам:
«Слушай, все равно я не отстану...»
«Отцепитесь от меня, не дам!»
«Экая, скажите, недотрога!
Барыня из Киева! Чека!»
«Маменьке пожалуюсь, ей-Богу,
Будет вам, как летось...» Башмака
Корка тарабанится под ногу
И шатырит передок рука.
«Ой, панычику, боюсь — пустите!..»
Завалились и всему — каюк.
Перепел колотит емко в жите;
Выгибает крючкотвор свой крюк,
Да не видно. «Шельмы! Подождите,
Вынырнет в Филипповки байстрюк!»

А шахтер — неистовая одурь
На него напала, как пчела, —
Голодранец, прощалыга, лодырь —
Закликает (ноченька светла!)
Любу-горлинку на огороды,
Где, как паутина, ткется мгла.
Да не прилететь туда Евдохе, —
Смутной из крапивы удерет:
Сладостны и горьки будут вздохи
В тесненьком чулане — у ворот,
За ночь спину истерзают блохи —
Теребил их на постели кот...
И напрасно, ей-же ей, напрасно
Надрывается у хат шахтер,
Дуя прелестью разнообразной
На затопленный чернилом двор,
Прелестью, которой непролазный
Научил его — степной простор!
Знал бы, как потупит завтра очи
Девушка, заметив паныча,
Как ресницы — черный хвост сорочий —
Распахнутся разом сгоряча,
Окропив росою жаркой ночи
Кожу век: так брызнут два ключа!..
Знал бы, зарыдал бы сдуру...

ВОЛК

Живу, как вор, в трущобе одичавший,
впивая дух осиновой коры
и перегноя сонные пары,
и по ночам бродя, покой поправши.
Когда же мордой заостренной вдруг
я воздух потяну и — хлев овечий
попритчится в сугробе недалече, —
трусцой перебегаю мерзлый луг,
и под луной, щербатой и холодной,
к селу по-за ометами крадусь.
И снега, в толщь прессованного, груз
за прясла стелет синие полотна.
И тяжко жмутся впалые бока,
выдавливая выгнутые ребра,
и похоронно воет пес недобрый:
он у вдовы — на страже молока.
«Он спит, не спит проклятая старуха!»
Мигнула спичка, желтый встал зрачок.
Чу!
          Звякнул наст...
                                        Как будто чей прыжок...
— Свернулось трубкой, в инее все, ухо...

ПОРТРЕТ

Взглянь на род человеческий.
Он ведь есть книга: книга же черная.
Гр.С.Сковорода.

Мясистый нос, обрезком колбасы
Нависший на мышастые усы,
Проросший жилками (от ражей лени),
Похож был вельми на листок осенний.
Подстриженная сивая щетина
Из-под усов срывалась — в виде клина,
Не дыней ли (спаси мя от греха!),
Глянь, подавилась каждая щека?
Грубее и сонливей лопухов,
Солонки сочные из-за висков,
Ловя, ховая речи, вызирали
Печурками (для вкладки в них миндалин).
А в ямках — выбоинах под бровями —
Два чернослива с белыми краями,
Должно быть в масле (чтоб всегда сиять),
Полировали выпуклую гладь.
И лоб, как купол низенький извне,
Обшитый загорелой при огне,
Потрескавшейся пористою кожей,
Проник заходиной в волосьев ложе.
И взмылила главы обсосок сальный
Полсотня лет, глумясь над ним нахально:
Там — вошь сквозная, с точкою внутри,
Впотьмах цепляет гнид, как фонари.

ГАДАЛКА

Открой, аще можеши, сердца твоего бездну.
Гр.С.Сковорода.

Слезливая старуха у окна
гнусавит мне, распластывая руку:
— Ты век жила и будешь жить — одна,
но ждет тебя какая-то разлука.
Он, кажется, высок и белоус.
Знай: у него — на стороне — зазноба...
На заскорузлой шее — низка бус:
так выгранить гранаты и не пробуй!
Зеленые глаза — глаза кота,
скупые губы — сборками поджаты;
с землей роднится тела нагота,
а жилы — верный кровяной вожатый.
Вся закоптелая, несметный груз
годов несущая в спине сутулой, —
она напомнила степную Русь
(ковыль да таборы), когда взглянула.
И земляное злое ведовство
прозрачно было так, что я покорно
без слез, без злобы — приняла его,
как в осень пашня — вызревшие зерна.

УПЫРЬ

О нетопырь! Горе тебе! Творящему свет тьмой.
Гр.С.Сковорода.

Свежей глины невязкий комок
Безобразно-паучьей усмешкой
Перекривлен: два щуплых орешка
Запустил под плеву старичок.
Ерепенясь, пронзительно-звонко
Заливается он — Божий дар:
Туго-натуго сгорнут пелёнкой,
Отрыгнувшей протухший угар.
А над люлькой приземистой мамки
Щепетильная дмётся копна:
В ней нудота потрепанной самки
Да пыхтенье пудового сна.
И тягая из кофты грязнущей
Гретый мякиш с прижухлым стрючком,
Утомляет прорыв негниющий —
Идиота с набрякшим лицом.
Невдомек ротозейке-неряхе,
Молоко отдоившей из гирь
(Иль из дуль, впрок мочёных?), — что взмахи
Перепонок вздымает во мраке
Захлебнувшийся пойлом упырь;
Что при гнете жестяной коптючки —
В жидком пепле — дитёнок чудной

Всковырнётся и — липкие ручки,
Как присоски при щедрой получке,
Лягут властно на плечи и — вой...


ПЛОТЬ

* * *

Бездействие не беспокоит:
не я ли [супостаты, прочь!] —
стремящийся сперматозоид
в мной возлелеянную ночь?
От бытия, податель щедрый,
не чаю большего, чем кто
от лопающейся катедры
перетасовки ждет лото.
И, наконец, обидно, право,
что можно лишь существовать,
закутываясь в плащ дырявый
и забывая про кровать.

ПРЕДПАСХАЛЬНОЕ

В сарае, рыхлой шкурой мха покрытом,
сверля глазком калмыцким мутный хлев,
над слизким, втоптанным в навоз корытом
кабан заносит шмякающий зев.
Как тонкий чуб, что годы обтянули
и закрутили натуго в шпагат,
стрючёк хвоста юлит на карауле,
оберегая тучный, круглый зад.
В коровьем вывалявшись, как в коросте,
коптятся заживо окорока.
— Еще две пары индюков забросьте, —
на-днях писала барская рука,
и, по складам прочтя, батрак-рабочий,
печными тараканами нагрет,
старательней и далеко до ночи
таскает пойло — жидкий винегрет.
Сопя и хрюкая коротким рылом,
кабан копается, а индюки
в соседстве с ним, в плену своем бескрылом,
овес в желудочные прут мешки.
Того не ведая, что скоро казни
наступит срок и — загудит огонь
и облизнувшись жалами задразнит
снегов великопостных, хлябких сонь;
того не ведая, они о плоти
пекутся, чтобы, жиром уснастив

тела, в слезящей студень позолоте
сиять меж тортов, вин, цукатных слив...
К чему им знать, что шеи с ожерельем,
подвешенным, как сизые бобы,
вот тут же, тут пред западнею — кельей,
отрубят вдруг по самые зобы,
и схваченная судорогой туша,
расплескивая кляксы сургуча,
запрыгает, как под платком кликуша,
в неистовстве хрипя и клокоча?
И кабану, уж вялому от сала,
забронированному тяжко им,
ужель весна хоть смутно подсказала,
что ждет его холодный нож и дым?..
Молчите, твари! И меня прикончит,
по рукоять вогнав клинок, тоска,
и будет выть и рыскать сукой гончей
душа моя, ребенка — старичка.
Но перед вечностью свершая танец,
стопой едва касаясь колеса,
Фортуна скажет: «Вот — пасхальный агнец,
и кровь его — убойная роса».
В раздутых жилах пой о мудрых жертвах,
и сердце рыхлое, как мох, изрой,
чтоб смертью смерть поправ,
восстать из мертвых,
утробою отравленная кровь!

ЧЕТА

Блаженство сельское!
Попить чайку
с лимоном, приобретенным в лавочке,
где продавец, как аист, начеку, —
сухой, предупредительный и звонкий;
прихлебывая с блюдечка, на дне
которого кресты выводит лавра,
о мельнице подумать, о коне
хромающем: его бы в кузню завтра...
И, мысли-жернова вращая, вдруг
спросить у распотевшейся супруги:
— А не отдать ли, Машенька, на — круг
с четверткой тимофеевку в яруге?
И баба в пестром плисовом чепце,
похлопав веками (совсем по-совьи),
морщинки глубже пустит на лице,
питающемся вылинявшей кровью,
обдёрнет скатерть и промолвит: «ну...»
И это «ну» дохнет годами теми,
когда земля баюкала весну,
как Евы и Адама сны в Эдеме.
О, время, время!
Скользкое, как уж,
свернулось ты в душе и — где же ропот?
— В дежу побольше насолить бы груш,
Надрать бы пуху с гусаков...

И копит
твое бессменное веретено
и нитки стройные, и клочья пакли.
Но вот запнулось, гулкое, оно:
ослабли руки, и глаза иссякли.
И что с того, что хлопотливый поп
похряскивает над тобой кадилом,
что в венчике бумажном стынет лоб,
когда ты жил таким ленивцем милым,
когда и ты наесть успела зоб!..

БАНЯ

На мокрых плотных полках — скомканные груды
из праотцев, размякших, как гужи:
лоснящиеся бритые верблюды,
косматые медведи да моржи.
Из пены мыла, взбитого в ушате
проворной сухощавою рукой,
выглядывают (кстати и некстати)
то пятка, то плечо, то глаз косой.
Там рыжего диакона свирепо
вдоль надвое разваленной спины
березой хлещет огненный мазепа,
суровый банщик, засучив штаны.
А здесь — худой, с ужимками мартышки,
раскачиваясь, боли покорив,
мочалкой трёт пропревшие подмышки,
где лопнул, как бутон, вчера нарыв.
А сей верзилистый — не Геркулес ли? —
Вот только б при корнях упругих ног,
меж яблочных пахов, привесить если
ему фигурный фиговый листок.
И кровь, и мышцы, и мускулатура, —
все тело дряблое, параличом
еще не потрясенное, амура
по вечерам зовущее в свой дом, —
какому божеству, смывая грязи,
жиров и пота тускнущий налёт,

в глухом, самодовлеющем экстазе
из вас хвалу — осанну всякий шлёт?
Не матери-земле ль, чтоб из навоза
создать земной, а не небесный рай?
Гуляй в пару, рысистая береза,
по коже спин, по задницам гуляй!
И, доморощенное пекло бани
флажком в субботу каждую цвети,
оповещая прихожан заранее,
что даже в рай потребно через грех брести.

ЗНОЙ

Упал, раскинулся и на небо гляжу.
В сиропе — в синеве густой — завязнуть хочет
расслабленный, дрожащий судорожно кобчик,
А зной, как ливень: в жито, в жито — чрез межу.
Голубенькая глупенькая стрекоза
прилипла к льющемуся колосу и — жмутся
морщинистые складки живота: смеются
две пуговицы перламутровых: глаза.
Лупатая!
Висишь над самой головой
и слушаешь, как надрывается кузнечик.
Смешно, что нынче я — никчемный человечек,
сраженный зыбкой негой, млею, чуть живой?
Ну, да.
Зато, когда б сквозь жаркий и зеленый
и васильковый бор сюда вдруг забрела
она — и ты, как пасечник во дни урона,
во дни ройбы, промолвила бы:
— «Вот и рай!»...

ПОРЧЕНЫЙ

Сивея, разлагается заря,
как сыворотка мутного тумана.
А здесь — дупло, вздыблённая ноздря
чихнуть собравшегося великана.
А и чихнул бы этот пень-коряга,
да власти нет, да время не пришло.
Ногой куриной сгорблюсь и прилягу:
пусть бродит, спотыкаясь, ночи зло.
Оно и хило, и подслеповато:
вращающееся веретено.
Нос высверлился, как орех, и вата
закисла в мокнущей дыре давно.
Сморкнуться некуда!
И со слюной,
вобрав в себя, проглатывает тину.
А язвы в нёбе щиплет жгучий гной
и судорога четвертует спину.
Вернуться на село?!
О, никогда!
Слоняться под амбарами вдоль улиц,
сгорать и задыхаться от стыда:
родные, как от вора, отшатнулись!
Невеста Соня...
Господи!..
И слезы
из безресничных брызнули очей

и, обхватив руками ствол березы,
от всхлипываний задрожал кощей.
Трясясь, исходит плачем ночи зло,
ублюдок ада, возле пней — у ската
хребта лесного.
Вяло поползло
зеленоватое по губке ваты...

ТИФ

Прикинулся блохою крысиной,
подпрыгнул, как резиновый мяч,
и пал на собаку, чтобы псиной
втереться в казармы, где шумят.
Играют в «дурачки» и в «железку»,
хохочут, — а скользкая блоха,
стальная по закалу и блеску,
накачивает сок в потроха.
И ночью, когда кругом погаснет,
и жилистый настоится пот, —
клыками первобытными ляснет
и лапами мужика сгребет.
Насядет и, схвативши за глотку,
как яблоки, вылупит белки
и — бросит в баснословную лодку,
в качающиеся гамаки.
Несите, качайте по Тибету,
по Африке, по мерзлой луне,
где карт и революции нету,
где думать не надо о жене!
Не скиф, а щеголь великосветский:
лихач впереди кричит:
— Пади!..
И разве *этот* голый в мертвецкой —
изысканнейший *тот* господин?..
Скуластый, скрюченный, белобрысый,

и верхняя припухла губа...
Мошонку растормошили крысы
и — сукровицу можно хлебать!..
Узнает жена лишь по рубашке,
а дочка не узнает уже...
Так вот какой навоз для запашки,
сыпняк, ты месишь и без дрожжей!
Простер над жизнью людскою кару,
прикинулся знойною блохой
и — скачешь, скачешь по тротуару
за долей, старушкою глухой...

* * *

Одно влеченье слышать гам,
чуть прорывающий застой,
бродя всю жизнь по хуторам
Григорием Сковородой.
Не хаты и не антресоль
прельстят, а груша у межи,
где крупной зернью ляжет соль
на ломоть выпеченной ржи.
Сверчат кузнечики.
И высь —
сверкающая кисея.
Земля — праматерь!
Мы слились:
твое — мое, я — ты, ты — я.
Мешает ветер пятачки,
тень к древу пятится сама;
перекрестились ремешки,
и на плечах опять сума.
Опять долбит клюка тропу,
и сердцем, что поет, журча, —
проклюнувшее скорлупу
баюкаемое курча.

ВДОВЕЦ

Размякла плоть — и синевата проседь
на реденьких прилизанных висках.
Рудая осень в прошлое уносит
и настоящего сдувает прах.
В бродячей памяти живут качели —
в скрипучих липах — гонкая доска.
Колени заостри, и — полетели,
нацеливаясь в облака.
И разве эта цель была напрасной?
Все туже шла эфирная стезя
и все нахальнее метался красный
газ пред лицом, осмысленно грозя.
Но слишком дерзостен был и восторжен
(с пути долой, тюлени — облака!)
полет, должно быть, если вечный коршун
скогтил, схвативши лапой, голубка.
И только клуб да преферанс остался,
да, после клуба, дома — «Отче наш»,
да целый день мотив усталый вальса,
да скука, да стихи, да карандаш...

СТОЛЯР

Визжит пила уверенно и резко,
как рожь, ползут рисунка завитки,
и неглубоким желобком стамеска
черпает ствол и хрупкие суки.
Кряжистый, низкий, лысый, как апостол,
нагнулся над работою столяр:
из клена и сосны почти что создал
для старого евангелья футляр.
Размашистою кистью из кастрюли
рука ворует тепловатый клей,
и — половинки переплета сомкнули
с колосьями, не из родных полей.
Теперь бы только прикрепить застежки,
подернуть лаком бы, да жалко нет...
В засиженные мухами окошки
проходит пыльными столбами свет.
Как будто день чрез голубое сито
просеивает легкую муку.
И ею ствол и лысина покрыты,
и на стволе она и на суку.
О, светлая, рассыпчатая манна!
Не ты ль приветствуешь господень труд,
не от тебя ли тут благоуханно,
и мнится: злаки щедрые растут?
Смотри осенний день, и на колосья
что вырастить, трудясь, рука могла.

Смотри и молви:
их пучок разросся
маслиной Ааронова жезла!

* * *

Цедясь в разнеженной усладе,
вся жизнь текла и — протекла,
Но как побрел бы, бога ради,
поклянчить грубого угла!
К сохе, в степи, где край непочат,
подвесть мордатого коня
и, знаю, ветры защекочут
руками хлябкими меня.
И, только солнце выткет кокон,
в него залезет и замрет, —
чрез прясло, возле влажных окон,
перевалиться в огород,
нарвать моркови и укропа,
гнездо картофеля подрыть,
и после, в печке низколобой,
сгребая пену, суп варить...
И, помянув Христа во вздохе,
отдаться тяге сна легко,
чтоб видеть медленные сохи
на горизонте — далеко...

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Как быстро высыхают крыши.
Где буря? Солнце припекло.
Градиной вихрь на церкви вышиб
Под самым куполом стекло.
Как будто выхватив проворно
Остроконечную звезду, —
Метавший ледяные зерна,
Гудевший в небе на лету.
Овсы лохматы и корявы,
А рожью крытые поля:
Здесь пересечены суставы,
Коленца каждого стебля.
Христос! Я знаю, ты из храма
Сурово смотришь на Илью:
Как смел пустить он градом в раму
И тронуть скинию твою?
Но мне — прости меня, я болен,
Я богохульствую, я лгу —
Твоя раздробленная голень
На каждом чудится шагу.

СИРИУС

Ангел зимний, ты умер.
Звезда
синей булавкою сердце колет.
Что же, старуха, колоду сдай,
брось туза на бездомную долю.
Знаешь, старуха, мне снился бой:
кто-то огромный, неторопливый
бился в ночи с проворной гурьбой, —
ржали во ржах жеребцы трубой,
в топоте плыли потные гривы...
Гулкие взмахи тяжелых крыл
воздух взвихрили и — пал я навзничь.
Выкидышем утробной игры
в росах валялся и чаял казни.
Но протянулась из тьмы рука,
вылитая — верь! — из парафина.
Тонкая, розой льнущая ткань,
опеленав, уложила в длинный
ящик меня.
Кто будет искать?
Мертвый, живой — я чуял:
пото́м
пел и кадил надо мною схимник,
пел и кадил, улыбался ртом, —
это не ты ли, мой ангел зимний?
Это не ты ли дал пистолет,

порох и эти круглые пули?..
Песья звезда, миллионы лет
мед собирающая в свой улей!
Ангел, ангел, ты умер.
Звезда,
чтó тебе я — палач перед плахой?..
В двадцать одно сыграем-ка.
Сдай,
сдай, ленивая, сивая пряха!

СЕАНС

Для меня мир всегда был прозрачней воды.
Шарлатаны — я думал — ломают комедию.
Но вчера допотопного страха следы,
словно язвы, в душе моей вскрыл этот медиум.
С пустяков началось, а потом как пошло,
и пошло — и туда, и сюда — раскомаривать:
стол дубовый, как гроб, к потолку волокло,
колыхалось над окнами желтое марево,
и звонил да звонил, что был заперт в шкапу,
колокольчик литой, не нечаянно тронутый.
На омытую холодом ровным тропу
двое юношей выплыли, в снег опелёнуты.
Обезглавлен, скользя, каждый голову нес
пред собой на руках, и глаза были зелены,
будто горсть изумрудов — драконовых слез —
переливами млела, застрявши в расщелинах.
Провалились и — вдруг потемнело.
Но дух
нехороший, тяжелый-тяжелый присунулся.
Даже красный фонарь над столом — не потух! —
почернел, как яйцо, где цыпленок наклюнулся.
— Ай, ай, ай, — кто-то гладит меня по спине, —
дама, взвизгнув, забилась, как птица, в истерике.
Померещилось лапы касанье и мне...
Хлынул газ из рожков и — на ярком мы береге.
— Боже, как хорошо! — мой товарищ вздохнул,

проводя по лицу трепетавшими пальцами.
А за окнами плавился медленный гул:
может, полночь боролась с ее постояльцами.
И в гостиной — дерзнувший чрез душу и плоть
пропустить, как чрез кабель, стремление косное —
все не мог, изможденный, еще побороть
сотворенное бурей волнение грозное.
И, конечно, еще проносили они —
двое юношей, кем-то в веках обезглавленных —
перед меркнущим взором его простыни
в сферах, на землю брошенных,
тленом отравленных.

* * *

Она — некрасива:
приплюснут
слегка ее нос, и глаза,
смотрящие долго и грустно,
не раз омывала слеза.
О чем она плачет — не знаю,
и вряд ли придется узнать,
какая (святая, земная?)
печаль ее нежит, как мать.
Она — молчалива.
И могут
подумать иные: горда.
Но только оранжевый ноготь
подымет луна из пруда, —
людское изменится мненье:
бежит по дорожке сырой,
чтоб сгорбленной нищенской тенью
скитаться ночною порой.
Блуждает, вздыхая и плача,
у сонных растрепанных ив,
пока не плеснется на дачу
кровавый восхода разлив.
И вновь на потрухшей террасе
сидит молчаливо-грустна,
как сон, что ушел восвояси,
но высосал душу до дна.

ЛЮДСКАЯ ПОВЕСТЬ

Летучей мыши крыло
задело за сердце когтем, —
и грудь — пустое дупло,
хоть руку засунь по локоть.
Сегодня, завтра, вчера —
все тот же сумрак в деревьях:
кленовые вечера
в раскидистом, добром чреве.
Нет плоти и — нет греха,
нет молний мертвецких ночью...
Сутулого жениха
заластили по-сорочьи.
Как вздернут лукавый нос!
И солнце поет в веснушках!
Худой, привязчивый пес —
я с Вами, моя пастушка!
Лиловое, синь кругом:
цветочки: Иван-да-Марья.
Откуда же этот гром,
удушье тягучей гари?
Ах, девушка, всех милей,
не девушка, а наяда...
Душа!
Как пес, околей!
Под тыном валяйся, падаль!

ПОКОЙНИК

В прихожей — выщербленный рукомойник,
да на лежанке хромоногий кот.
А чтó, когда вдруг добренький покойник
сюда с погоста в сумерках придет?
Шатаясь, в Николаевской шинели
с бобровым вылезшим воротником,
войдет, поскрипывая еле-еле
косым, ходьбою сбитым, каблуком.
Потрет ладони, связки пальцев грея:
Никиту, может, кликнет впопыхах,
да, вспомнив, что давно прогнал лакея,
закашляется, захрипит всердцах.
Сурово сдвинет брови, тучей-туча,
стряхнет на стул шинель с костлявых плеч,
и — встанет кот, испуганно мяуча;
коробясь, не осмелится прилечь...
Потом, разглаживая бакенбарды,
прильнувшие к морщинистым щекам,
направится в ту комнату, где карты
раскладывает дряхлая madame.
На миг остановившись у портьеры,
окинет взором столик со свечей,
старуху чопорную в тальме серой
и полукруг пасьянса небольшой.
— Bonjour, Nadine, — и щелкнет каблуками,
и ужас заберется в женский взгляд.

И, замахав белесыми руками,
старуха вся откатится назад.
В трубе простонет вьюшкою тяжелой
холодный ветер: хватит и швырнет...
А утром девка выцветший околыш
под стулом продырявленным найдет.
Помнет и в сенцах на чердак забросит:
— Никак, от баринова картуза?
Черт лешего опять, наверно, носит:
подумаешь, чердачная гроза!
И — ну мести, да так, чтоб рукомойник
не загремел: ведь, старая — больна.
Лежит она:
— Повадился покойник,
ужели Богом власть ему дана?

[1920]

УКРОП

Тянет медом от укропа,
поднял морду, воя, цербер.
Из-за века — глаз циклопа:
полнолунье на ущербе.
Под мельницей ворочает
колеса-жернова
мучарь да нежить прочая,
сама едва жива.
А на горке, за овином,
за цыгельной — ветряки.
Ты нарви, нарви, нарви нам,
ведьма, зелья от руки!
Пошастать бы амбарами,
замки травой взломать:
не помирать же старыми,
такую твою мать!
Прётся виево отродье;
лезет в гору на циклопа.
Пес скулит на огороде,
задыхаясь от укропа.

САМОУБИЙЦА

> В какую бурю ощущений
> Теперь он сердцем погружен!
>
> *А.Пушкин*

Ну, застрелюсь. И это очень просто:
нажать курок, и выстрел прогремит.
И пуля виноградиной-наростом
застрянет там, где позвонок торчит,
поддерживая плечи — для хламид.
А дальше — что́?
Поволокут меня
в плетущемся над головами гробе
и, молотком отрывисто звеня,
придавят крышку, чтоб в сырой утробе
великого я дожидался дня.
И не заметят, что, быть может, гвозди
Концами в сонную вопьются плоть:
ведь, скоро, все равно, под череп грозди
червей забьются и — начнут полоть
то, чем я мыслил, что́ мне дал Господь.
Но в светопреставленье, в Страшный Суд —
язычник! — я не верю: есть же радий.
Почию и услышу разве зуд
в лиловой, прогнивающей громаде,
чьи соки жесткие жуки сосут?
А если вдруг распорет чрево врач,
вскрывая кучу (цвета кофе) слизи, —

как вымокший заматерелый грач,
я (я — не я!), мечтая о сюрпризе,
разбухший вывалю кишек калач.
И, чуя приступ тошноты от вони,
свивающей дыхание в спираль,
мой эскулап едва-едва затронет
пинцетом, выскобленным, как хрусталь,
зубов необлупившихся эмаль.
И вновь, — теперь уже, как падаль, — вновь
распотрошенного и с липкой течкой
ируснично-бурой сукровицы, бровь
задравшего разорванной уздечкой,
швырнут меня...
Обиду стерла кровь.
И ты, ты думаешь, по нем вздыхая,
что я приставлю дуло (я!) к виску?
...О, безвозвратная! О, дорогая!
Часы спешат, диктуя жизнь: «ку-ку»,
а пальцы, корчась, тянутся к курку...

* * *

Водяное в барабане,
И дурачится она:
Жар и сутолока бани,
Одуванчик смутный сна.
В завитом упругом дыме
Убыстряют бег часы:
— Добрый день тебе, Владимир!
И: — Спокойной ночи, псы!..
Но любовь одна и та же,
Вне пространств и вне веков,
Метит крестиками даже
Спины гладких пауков,
Нежит в замшевой постели
Шелопая до восьми,
Чтоб вынюхивал он щели,
Канительный райский змий.
И, когда в последней дрожи
Задымится чадом лесть,
Станет донельзя похоже
На Сатурн все, что есть!

* * *

Глаза, как серьги голубые,
В пушке — курчат и верб — ресниц,
И слезы по щекам, по вые
Текут, чтоб пасть, чтоб кануть ниц.
А ночь протягивает коготь,
Сжимая лапу в темноте,
И — хочет месяцем потрогать
Рыдающую от затей.
Плачь и стенай! Паук подходит
Зудеть и закорючкой «З»
Зиять в развернутой колоде,
В мушиной мучиться грозе.
Постой! Я вспомнил: то не ты ли
Украла ночью нож кривой,
Ушла и — после наследили
Кругом. — «Ну, что?» — Да, неживой,
И то не ты ль, не твой ли коготь —
Царапаете смуглый лик,
Чтоб горбоносый грубый Гоголь
Был менее при мне велик?

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

В брови, легшие, как два пера,
Над изумленной изумрудной бездной;
И подбородок (из-под топора),
Углом обрубленный, сквозь синь железный;
И голос властный, вкрадчиво певучий,
Так скупо опыляющий слова;
И пальцы-щупальцы, что по-паучьи
Дотрагиваются едва-едва.
Пугало, колдовало и влекло
Меня неодолимою стремниной.
Как ненадежно хрупкое весло!
И как темны вампирьи именины!
Но сквозь румяна и трущобы бреда
На колеснице мчась, как фараон,
Я настигала в нем не людоеда,
Восставшего из канувших времен;
И не монаха, огненной трубой
Из гроба ринутого на ухабы.
— С презрительно отваленной губой,
Зачем так давишь, каменная баба?

КОЛДУН

Истает талия у Вас,
Паук и знойная оса!
На тусклом сусле млеет квас,
В трубе коптится колбаса,
И, домосед и нетопырь,
Хоронится бобыль в дупле.
Распарившийся шубой вширь,
Шушукается: мне б теплей...
Да лежебоку не дано,
И, что ни кафля, жар, — а лед.
Сочится, и застужено
Прищуренное у ворот
Куриное окно.
Шушукается: мне б теплей...
А (няни спицами) паук
Сучит сияние стеблей,
А осы выгрызли чубук...
Лазурно добела. И все ж
Не талия, а перехват,
И выщербленный узкий нож
От ярости голубоват.
И пахнут потом сапоги,
Чтоб топотом потом пройтись
Среди кузнечной колкой зги
По костякам, упавшим вниз.
И выколачивая дух

Из тела — пыльное рядно, —
В сенях аукнется петух
И пустит радугу в окно.

В СКЛЕПЕ

Позеленела каждая кость,
Выветрилась, как память, известка.
Было и будет так: только горсть
Пепла, тумана, холода, воска.
Где же теперь ты, нега моя?
Где? И не все ли в мире едино:
Волос и шерсть, перо, чешуя —
Глина жужжащая господина?
Где же искать мне губ твоих пух,
Иней, что мы и летом растили,
Если собачье ухо в лопух
Жизнь развернула, воя в могиле?
Слушать тебя, тобою дышать
И, задохнувшись душным помолом,
Ноздри раздув, кобылой проржать,
Мчась через гати, по суходолам.
В этом ли ты меня не поймешь?
Взоров не знать бы мне синеглазых!
Сам на себя отточенный нож
(Черт-полумесяц) грею за пазухой.

БРОДЯГА

Ты не воспестована, нищета,
И в сем, должно быть, первенство твое.
Что — мать, что — мученица у креста,
Что и Илии (милоть на ветер!) взлет?
Не счесть гудящих недрами имен,
И мудрость мира явлена не вся:
В стакане чая тающий лимон,
С крутым яйцом опреснок карася.
Но даже ты, скромнейшая из скромных
Домашних трапез, кажешься худой,
Когда бродяга в башмаках огромных
Толкнется в дверь еловою скулой.
Зачем о семени так властно трубишь,
К хребту приросшая вплотную плоть:
Живот, обвисший в паутине рубищ,
Вот этим пальцем можно проколоть?
И башмаки, сбивая по дороге
Наперстки мака, второпях несли
Не вас ли, раскоряченные ноги,
Верблюжье-обезьяньи корабли?
Мотнет пивными патлами и носом
Поморщится: не дышет ли коржом?
О, нищета. Ему бы мериносом
Быть или принцем под густым плащом...
А он — бездомный, рваный волк, бродяга
С изглоданной железной просфорой.

И бьет его, мутит и гонит тяга,
Как вальдшнепа по просеке сырой.
И плоть нудит и жалуется на ночь:
Облобызай, облобызай меня.
Кровь преврати в шипение шафрана,
Мурашками и судорогой льня;
Упрямую да одолею шею,
Да придавлю ее к земле ногой,
И — кану в Канну, кану в Галиллею, —
Непреткновенный, шумный и нагой.

СОВЕСТЬ

Жизнь моя, как летопись, загублена,
Киноварь не вьется по письму.
Ну, скажи: не знаешь, почему
Мне рука вторая не отрублена?
Разве мало мною крови пролито,
Мало перетуплено ножей?
А в яру, а за курганом, в поле,
До самой ночи поджидать гостей!
Эти шеи, — потные и толстые,
Как гадюки, скользкие, как вол,
Непреклонные, — рукой апостола
Савла — за стволом ловил я ствол.
Хвать за горло, а другой — за ножичек
(Легонький да кривенький ты мой!)
И — тягучей застит очи тьмой
И тошнит в грудях, томит немножечко.
А потом, трясясь от рясных судорог,
Кожу колупать из-под ногтей
И — опять в ярок и ждать гостей
На дороге в город из-за хутора.
Если всполошит что, что запомнится, —
На дубу свистящий соловей:
От пронзительного белкой-скромницей
Детство в гущу прыгнуло ветвей.
И пришли чернявая, безусая
(Рукоять и губы набекрень),

Именем сусальным Иисуса
Выводить из мрака ветхий день.
Шевелит отрубленною кистию, —
Червяками робкими пятью, —
Тянется к горячему питью,
И, как Ева, прячется за листьями.

* * *

Лавина, сонная от груза,
Дохнула холодом на шлях,
И град — не град, а кукуруза,
Что в синих вызрела полях.
Сыпнуло мутным и каленым
По косогорам и низам, —
И, как павлин, хвостом зеленым
Играет день по небесам.
Взмордованный ройбою улей,
Шумит и гаснет дюжий гром.
И краснoперою зозулей
Кукует сердце под ребром.
И вновь по жилам, что стеблями
Вросли в меня, ползет вино, —
И в златосолнечном Адаме
Яйцо грозой опылено.

ХЛЕБ

Отфыркиваясь по-телячьи
Слепой пузырчатой ноздрей,
Сопит одышкою горячей,
Впираясь в дежкино ребро.
Ворочается (баба — бабой),
Сырые бухнут телеса.
Пока в утоме сладкой, слабой
Тяжелый гриб не поднялся.
И, вышлепнутый на лопату,
Полакированный водой,
В зиянье зоба, сам зобатый,
Метет капустной бородой.
И в голубое серой грудой
Мозгов вползя, сквози, дрожи,
Чтоб гаснущей рудой полудой
Стянуть желудочное ржи;
Чтоб затхлым запахом соломы,
Перепелами пропотев,
На каткий стол под нож знакомый
Переселиться в слепоте.
Лишь челюсть, комкая, расскажет
Утробе, смоченной слюной,
О том, что скоро снова пажить
На стебель выплеснет зерно
И, утучнив его угрюмым,
Литым движением в кишках,

Отдаст, разнежив, частым думам
О розовеньких гребешках,
Что прояснили взор девичий,
Отбросив русые с чела:
Над ломтем бабушкин обычай
Половой сытого дупла.

АЛЕКСАНДРУ БЛОКУ

Узнать, догадаться о тебе,
Лежащем под жестоким одеялом,
По страшной, отвиснувшей губе,
По темным, под скулами, провалам?..
Узнать, догадаться о твоем
Всегда задыхающемся сердце?..
Оно задохнулось!
Не придем
На пятый этаж на Офицерской...
Не будем размеривать слова...
А здесь, перед обликом извечным,
Плюгавые флоксы да трава.
Да воском заплеванный подсвечник.
Заботливо женская рука
Тесемкой поддерживает челюсть,
Цынгой раскоряченную...
Так,
Плешивый, облезший — на постели!
Довольно!
Гранатовый браслет —
Земные последние оковы,
Сладчайший, томительнейший бред
Чиновника (помните?) Желткова.

ЩУКА

Кулешом стреляет казанок
В осадившие его носы.
У речного тигра
(Иль осы?)
Выгравированный бок размок.

Провела по животу ножом,
Вырвала, поддев,
Пузырь рука, —
И померкла навсегда в чужом
(Масло конопляное)
Река.

Трижды включ перевернуло пасть
(С передка оскаленный башмак), —
И пропасть ей под пшеном,
Пропасть,
Чтоб в крутящемся и хрящ размяк.

Предскажу
(На левую хромой):
Хрустнет кость —
И брошен будет в таз
Жаберник с ресничной бахромой,
Ржавой солью выгрызенный глаз...

Где ж веленье щучее твое,
Где разбойничий, прямой покрой?
Не тебе рассыпаться икрой,
Промелькнуть
                    На целый водоем!

Под сосной заждалась
                    (У корней)
Друга,
                    Не приметила врага, —
И сквозь факел,
                    Выстрела верней,
Гикнула в три пальца острога...

В эту ночь —
                    Неслыханная тишь:
Сосны, дым,
                    И в дыме (в небо) брешь.
Ты одна внимательно следишь,
Как доваривается кулеш.

В эту ночь,
                    Среди песков и трав,
Ты особенно мне дорога...

В позвоночник вилу мне направь,
Чтобы не увидел я врага;
Чтобы пред тобой,
                    Притворный друг,
Я (один!)
                    Без чешуи размяк,
Жабрами в тазу пугая вдруг
Девушек,
                    Несносный суд шемяк.

ВНАЧАЛЕ

Очаровательный растаял аист,
И голое дитятя — индюша.
Простая бабушка бубнит про стаи:
Вернулась на землю — ее душа.
Как бы двойной в единой оболочке
Завязан плод был, и помолодел
(Когда взыграл оборками сорочки
Младенец грудей) его удел
Вернулась душенька, и восвоясях
Пупырышками тело поросло,
И ухо перешило бреды пасек
В кота мурлыкающее мурло.
А с горизонта погрозила церковь
(Антихриста отродье, отлучу)
Анафемским перстом
                                        И табакеркой,
Балуясь, занялся тянясь к ключу
Поблескивавший, шедший музыкально
За пазухой
                                амбарного замка,
Стерег гирей кушетку возле спальной:
Разрыв-трава на племя паука.
Нивесть куда, родителево горе
Очками и копытами брело:
Чтоб я змееныша на косогоре

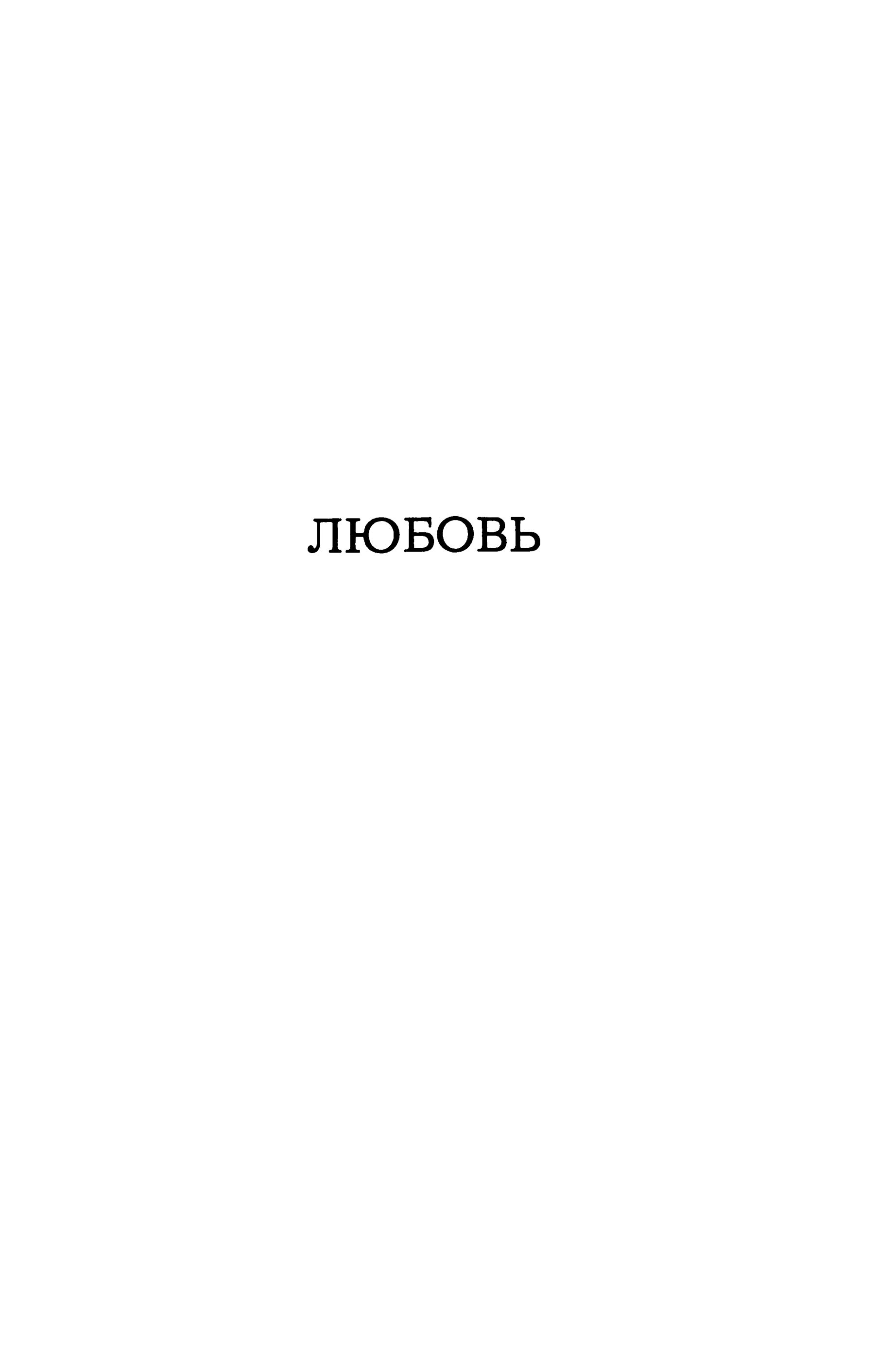
Не придушил — чтоб горло на село
Насело, жадное, и пило-пило...
Случилось так, что рогом от луны
Полнеба в день, как лампу, закоптило,
Попятились в крапиву валуны...
И все ж, ручонки рыли печерицы
По осокорью (зонтик-шампиньон).
И вдребезги разбитой черепицы
Шампанским блеском глаз был опьянен,
Мохнатые махнули махаоны
И — ситчиком перемахнули чрез
Домок, одноэтажный и согбенный:
Чего в бурьян и бурелом залез...
Гнилое яблоко, шлепок, щепотка
Трухи трутневой и — чудная быль,
Когда по сенью (праведной и кроткой),
Футболом — опрометчивый бобыль...
За косогором обернулся куцый,
Сафьяновым притопнул сапожком.
Фарфоровые в мураве пасутся
Гусыни (иноходью и пешком).
И аистиное гнездо, на дубе,
Впродоль которого (под треск, в сухмень)
Игла мгновенная, сквозь кору — струпья,
Продернула лоснящийся ремень.
Ликуя, молния на деревянный
Горбатый домик возложила нимб.
Сатурн стыдливо вышмыгнул из ванны,
Ванильный воздух шелестел над ним.
И плыли, таяли и — снова плыли
Жуки-аэропланы, махаон
Матерчатый, ульи-автомобили,
Мурлыкающий (часом позже) сон.
Грозила церковь бабушке за внука:

Во благовремении б утопить.
И в архалуке приплелась наука:
Архаровца над грифелем зудить.

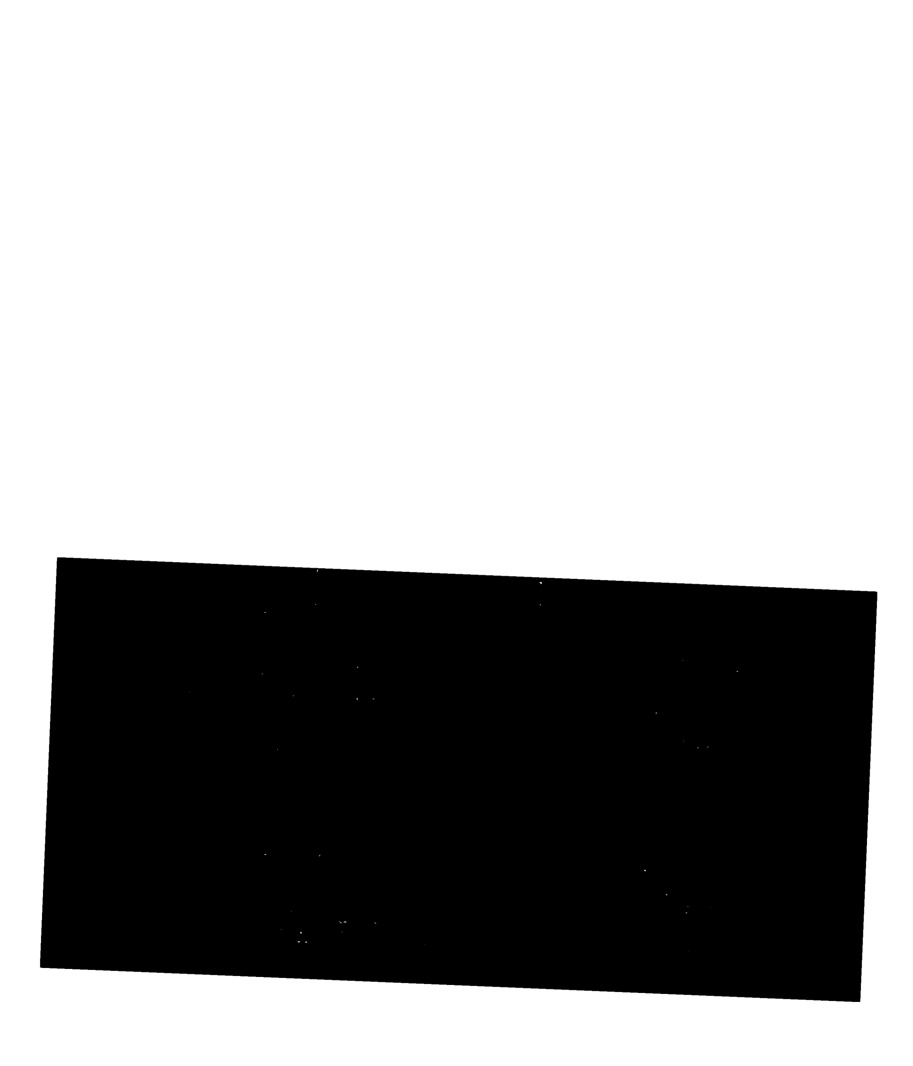
ВЕРБНАЯ СУББОТА

Вербой скользкой, розовой девчонок
Похлестать бы, да идут попы,
Да звезду клюет луна, — курченок,
Вылупившийся из скорлупы.
Улица, прогавканная псами,
Переулок, козырьком крыльцо;
От рудых подпалин под глазами
Скорбно материнское лицо.
Руки по локоть в горячем тесте —
Наспех вывернутые чулки...
...Сколько бы корабликов из дести
Можно сделать, — мы не дураки!
Завтра обязательно на речку:
Рафинадом криги у быков
Рушатся... Да где же дел я свечку?
Скажет репетитор: — «Гусь каков!..»
— «Повтори четвертое спряженье», —
Выворачивает мать чулок.
Тает, тонет головокруженье,
Тянет рот полудою зевок.
У, латынь дубленая! — «Я сброшу,
Мамочка, мундир». — А это что?
— «Что, следы?» — Ты потерял калошу?
— «Нет, то — мокрою полой пальто»...
И чрез три минуты, как у Гейне:
— Выпей чаю да пора и спать...

В крепко настоявшемся, в портвейне,
Палочки взойдут, нырнут опять.
Счастье!.. как и на ногтях бывают
Пятнышки... А все ж, латынь зубрить
Надо... Сахарные наплывают
Мысы на мост, силясь повалить...
Гавкает луна, гоняясь с вербой
За попами, обожравшись звезд,
И щербет в лоханке не исчерпан,
Водит и накручивает гроздь.
Локти месят, мешковата усталь
Лампы, — перед Пасхой так всегда!
И у матери, в страданьях, Суздаль
Сузил лик, — из глаз течет руда!
Зубы медными, чужими стали.
Но, оскомину искомкав, рот
С ухом эхо ловят от сандалий,
Легкий крик, на сале поворот...
Сонное перо на теплых крыльях
Снизу поотрепано, и я —
Будто на перроне, где решили
Ветерком насквозь пронять меня...
Пышут паровозы через сетку
И, отпихиваясь рычагом, —
Локтем, — дальше... Смятую салфетку
Дали мне и — никого кругом!..
Чую: серафимова забота
Борется с больной, твоей слезой,
Волосом заросшая Суббота,
Восковою лайкой и лозой!



ЛЮБОВЬ



I

Все великое приходит вдруг,
И путей планеты мы не знаем.
Только время спорит с Менелаем,
Раздирая лапами испуг.
Но любовь играет той же дамой
(Бархатная, сметливая крыса!) —
От широколапого Адама
До крылатоногого Париса.
Что ж дурного, если вдруг она
И в мою щеку вдавила зубки:
Так теплы и так душисты юбки,
И пустая просится луна.
Охраняют, завиваясь лаем,
Кобели за крепким частоколом.
Только время спорит с Менелаем,
Мы же — каждый со своим уколом.
Ты не бойся яблочных часов,
В кои плоть не ведает раздора:
Сыростью напитанная штора
Да табачный запах от усов.
Тонкий холод освежает плечи
И пылают животов корзины.
Лишь теперь мы бьемся без причины
В нашей оболочке человечьей.
Лишь теперь мы знаем: никогда
Нам не надо превращаться в кремний!

Пусть вперед и взад стремится время,
Собирает круглые года.
Пусть течет густая (до колена)
Судорога, вьется лай собачий.
Ева ты моя, моя Елена.
Что ты в жертве ценишь наипаче?
Выпяченные — бери! — соски?
Виевы ли веки, или губы?
Иль в пахах архангеловы трубы,
Взятые в утробные тиски?
Мы поймали то, что днем ловили.
И любовь испробует свой рашпиль
Не однажды, как и когти филин —
Смерть, на яблоке двуполой тяжбы.

II

Не ночь, а кофейная жижа:
Гадать и гадать бы на ней!
Пошла полумесяца лыжа
На полоз моих же саней.
Козлиные гонятся лица,
Поблеивают и поют.
Животная шерсть шевелится,
И волос — не гол и не крут.
Куда мне и что мне, заике,
Коль ворох соломы тяжел,
Коль первый попутный, великий,
Огонь лишь туманом прошел.
Валун! То не я ли, дорожный,
Сквозь зябкую глянул слезу?
Ухабистый, неосторожный,

Везу мое бремя, везу.
Могильникам не развалиться,
За пазуху сунули крест,
И виселицам веселиться —
Напраслина! — не надоест.
Под полозом — жарко и скользко,
И ворох соломы тяжел.
Но что мне, заике, до происка,
Коль кучер — и тот вот — козел!
Присел, кучерявый, на козлы,
Поблеивает и поет.
Чтоб жилой, хомячьей и рослой
(Поет) подоило живот,
Чтоб выдавив дышущий розан,
Я сам, облысел и умен,
Пропал, потому что обсосан,
В кивающей прорве времен.

III

Хорошенько втоптать чемоданы,
Запихнув их в горбатый задок.
Канделябр, — провожают каштаны:
Греховодный, прощай, городок!
Облака поддувает, как стружки,
Наливает штаны у колен.
Над крылечком, к заржавленной дужке,
Прицепил свой фонарь Диоген.
А и сколько сырых да курносых,
Белоногих белуг взаперти
Сторожишь, променявшая посох
На минеи бардачных житий?

А и что тебе, пава, до сусла
Кровяного, до плоти людской,
Коль в лихом и сама ты загрузла,
Опустившись с разящей клюкой?
И блюдешь, ястребица, в домашней
Канарейчатой юбке враструб,
Чтоб не вянули цицки от шашней,
Не болтались у Манек и Люб.
И какая ни есть потаскуха,
Голенище, гугнявая б...ь,
Размыкает от уха до уха
То, чего ей не приобретать.
Лопнет месяц-яйцо и прольется
(Ну, отваливай, ну, на ночлег) —
От папаши до золоторотца —
Всякой твари налезет в ковчег
И на поте замешано тесто.
Но связует расстрига-поэт
Виноградной стопой анапеста
С чревоблудием схимы обет.
Голова запеклась, и на блюде
Волос кверху, как корни у пня.
Не верблюдице выть о верблюде,
В ворохах захлебнется е...я
Из теплынью затопленных юбок —
Весь в мерлушках, распаренный зев
И — захлюпает хлябкий загубок,
По хребту насосавши посев.
И, дорвавшись по жилам до стона
Под ребро заберется опять,
Чтобы в дрожи, сквозь сон, исступленной,
Сладкой спаржей сосать, колупать.
Оловянные выстынут лужи,
Но тяжелый и розовый пар

Там, где окорок девки белужий
Распирает берлогу, как шар.
И кровать, убаюканный кузов,
На ухабах скрипит и поет
До утра.
И не прячет Кутузов,
Чрез мышиный прищурясь помет,
В щеки старостью вбрызнутый йод.
За околицу тащит расстригу,
Детвора разменялась по псам.
Тарантас сотрясается.
Прыгай,
Мой возок, по ежастым овсам!
Разливается май, златокудрясь,
И ныряет, пророча успех,
Мой возок — Мономахова мудрость —
Выбивая мне:
— Сидя в санех.

АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА

(Главы из поэмы)

...Порхает звезда на коне
В хороводе других амазонок:
Улыбается с лошади мне
Ари-сто-кратический ребёнок.

Капитан И.Лебядкин

Скучно на этом свете, господа!

Гоголь

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вы набожны, высокомерно-строги.
Но разве я не помню,
Как (давно)
Во флигеле при городской дороге
Летело настежь, в бузину, окно?
Вас облегал
Доверчиво и плотно
Капот из кубового полотна.
О, май!
Уж эти тонкие полотна,
Уж эти разговоры у окна!
А жизнь не ждет.
Не стало в доме дяди,
И тетки долг ни с кем не разделен.
Она живет
Слепого счастья ради,
Нудясь: скорей пришел бы почтальон...
И если вечером звонок с хрипотцей
В прихожей поперхнется раз иль два,
Какой гармидер
Полохнет, займется
По комнатам, не вымершим едва!
Из Питера вы пишете со скуки:
«Здесь, тетя Капочка, дожди и грязь...»
Блестят очки,
И сухонькие руки

Берут альбом, завернутый в атлас.
Когда-то тем,
Кому вы очень близки,
В альбом портрет ваш подарила мать...
Но можно ли
В занозе-гимназистке
Вас, Александра Павловна, признать?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Оранжевые, радужные перья
И женщин судорожные глаза —
Павлинья нефть! И пятнышки на веере,
И верба верб и заячий Мазай...
Проносится визжа и выжимая
Подол разгульный, регульным кропя
Индюшьи яйца, лица, чтоб хромая
Дьячиха не взглянула на тебя,
Чтоб храм, где хоры спят, твои веснушки
За звезды принял в куполе своем,
Чтоб ситцевые сдобные подушки
Горошинами грели, — кто вдвоем...
Да что! — Чуть ночь, выматывает жилы,
Как шелк из кокона, из тополей
И (медуницей чаша просквозила)
Фитиль я заправляю дебелей.
Приплюснутую комнату обшарив,
Клеенчатая суетится мышь, —
И в тесте, в сетчатом, дрожащем жаре,
Сквозь лак продавится угрем кишмиш.
Однако и в благоуханьи тела,
Яиц, окороков и куличей,
Ты, Сашенька, богиней пролетела
И опахнула темень горячей
Покоса похотливого, — и снова
Ресницами и веером маня,

И снова искрами дождя дневного
Сеча, пронзая, встретила меня
И — просветлела. Мы пойдем к дьячихе,
Индюшек будем щупать, ветви гнуть
И мерина пузатого, в гречихе,
Обротью выводить в нетрудный путь.
Там, за амбаром, где хлебают хляби
Расплавленную нефть, где волокно
Кострики вымоченной, — астролябий
Полно под полночь верхнее окно.
То лампой округленной, то гитарой
(Прижалась Сашенька к плечу: следи!)
Коробит звезды, и века-татары
Бредут передо мной и позади.
И во бреду я мыслями махаю,
И, если оторвусь, наткнусь иглой:
Я верю заячьему малахаю
И дереву, цветущему пчелой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Крыжние в зеленом росном небе
Сгинули, как табор: у-лю-лю...
И в ремизе ревизор, молебен
В прихожане кличет коноплю.
Палец — в палец, встала ветряная
Чаща, сквозняками заперта,
Думает, на Индию пеняя,
Что фонарь факира — кругл и стар.
И туманы глаз твоих, и губы,
Горю обреченные в углах,
Сашенька, как голуби, мне любы,
Ворчуны на глиняных крылах,
Птичья клетка (лапки в перепонках,
Шаткие шершавые носы,
Горловой горох) и вперегонки —
На бочонках обручи — часы.
Птичья клетка, как сухие ребра
Дедовой и внуковой судьбы!
Хорошо бы в канделябрах доброй
Свечке — ну, а как стеречь гробы?
От Адама повелся курятник, —
Сашенька, и мы ль не так живем?
Мы ли, в этих вечерах опрятных,
Закручинимся под рукавом?
Подадут немного нам в сосуде
Душного, как пена, молока.

(Выменем и шерстью пахнут люди,
Коноплей и временем слегка),
И опять об Индии мы вспомним,
И о нем, похожем на попа, —
О факире, — что каменоломням
Вверила салопница-судьба.
Жил он, обрастая и худея
Рыжим волосом, питаясь лишь
Зернами — сморчками, лиходея
Вызывая тенью чрез гашиш.
Как гасила черная природа
Жгучий камень (тихий славный пот), —
Огненнобородый в огороды
Выходил: а что она живет?
Щупал обметенную и, прямо
Стоя, протирал свое бельмо —
След утиного удара, — шрама
Холодок, покачивал чалмой
И, наверное (не правда ль, Саша?),
В нашей клетке нас благословлял:
Птичье счастье, глохнет простокаша,
Муха учит плесени фиал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Яблоками небо завалило,
И поблек болотный молочай,
Пара в дышле — дьявол гривокрылый! —
Селезенкой ёкнуло: езжай!
Александра Павловна — бумагу
Из волос, из папильоток — прочь,
Зонт с оборочкой и — в колымагу,
Чтоб турусы по ярам толочь.
В колее по брюхо увязая,
Пьяное плетется колесо,
И за ним стегает мрак борзая
Долгоспинной, верткою осой.
В холоде поблескивают тускло
Стекла колымаги, ровный лак,
Бьет и бьет перепелиный мускул,
И линяет дальний лай собак.
В сыпкий бархат точный стук бутылок
Глуше — под пригорок с ветряком:
Примостился, дурень, на затылок,
Встал на четвереньки пауком,
И колдует в поле по-кожаньи,
Снегом осыпаем с небеси,
В жерновах — сопенье и ворчанье...
Николай-угодник, пронеси!
И проносит.
И уже направо —

Жабий, бородавчатый погост:
Человечьей пользуют приправой
Чернобыльник и лопух свой рост,
Но плывут, попрыгивают хаты,
Рыжий глаз мигает и — верней
Вырубы забора, что рогаты.
Тень, как тушь и — мезонин за ней.
Александра Павловна проворно
Ножку на подножку, — пурх — в подъезд.
Закрутило б носом и Ливорно:
Аромат ноздрю вот так и ест!
Смоляные разметав — к покою:
Коридорчиком — к пуховикам.
Как же ночи сахарной такою
Быть, коль жар зыбится по ногам?
И еще: качается розетка,
Сеется вуаль и — не губа,
А пиявка с дочкой-малолеткой
Красная играет: баю-бай.
И еще: какие панталоны:
Сединой насквозь прошел мороз.
Только: отчего огонь зеленый
В твой зрачок и в заресничье врос?
Душно, душно мне!
И жутко:
Ежась,
Ластится борзая.
По хребту
Дико шерсть вздымается и — в дрожи,
Корчась, лезет сука в пустоту.
Александра Павловна — в капоте:
Персей колокольчики и — страх.
Сердце задыхается на взлете:
Кто там в коридоре, шах-шарах?

Взять подсвечник?
Нет!
И прижимая
Пальцы выточенные к груди,
Вся — испуг, крадется, вся немая,
Осторожно, зá дверь, впереди.
А борзая Хлоя задом-задом,
Под кровать забилась и — скулит
Жалобно.
Луна проходит садом,
Что росой отборною налит.
Александра Павловна, дрожите?
Может разморила Вас кровать?
Вдруг за выходом во двор:
— Пустите,
Христа ради, переночевать...
Глухо-глухо, старческой утробой
Вынянченный голос.
Тишина.
Не кудлатый ли и низколобый,
Прощалыга клянчит у окна?
И, вся в трепете, — в стекло под аркой:
— На ступеньках, морду в лапы ткнув,
Хвост зажав, большущая овчарка
Обомлела, шевеля копну.
И опять:
— Пустите, Христа ради,
Переночевать...
Дудит в дупло,
А потом — понурую — к ограде,
За балясины, поволокло,
Медленным, тяжелым, человечьим
Шагом — и луна горé
Яблоками сыплет по заречьям,

Сахаром — по кленам во дворе.
Александра Павловна, что с вами?
Отчего вы навзничь и — ножом
Водите по горлу?
— К маме! к маме!
Не хочу я в доме жить чужом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Зеленоватый легкий и большой,
Удавленник качается на ветке
С дуплом, оглохшим ухом.
А вверху —
Такой же мутный, мертвый полумесяц.
Что за нелегкая сюда несет,
И что меня в оцепененьи держит,
Когда дышу, когда глотаю здесь
Вино, исторгнутое из могилы,
Вино, ползущее едва-едва
Чрез горло узенькое полуштофа,
Приплюснутого в толстые бока?
И сукровица зажимает глотку.
А небо в звездах, как кожух в репье,
Мотузка скользкая не оборвется,
Но высунутый репнувший язык —
Он мой, он пьет мою же кровь и слюни!
И не удавленник, рудой, с платком,
Намотанным на шее, господинчик, —
А я веселый, голый и худой,
Созревший плод, болтаюсь на голюке.
И знаю:
Многому я научусь
Под этим месяцем ущербным, много
Переберу я в памяти людей
(Так схимники перебирают четки),

И после, пуповиной перегнив,
Мотузка лопнет и — облезший, мокрый,
Я упаду и треснет мой живот,
Кисельным маслом обелив потёки
Гнусавя под нос, скорчившись, ночлег
Найдя под деревом и в жаркий полдень
Накликав смрадами фольговых мух,
Я потянусь, захлюпаю, я встану —
Чуть снова месяц ззубренным серпом
Распорет чрево, — встану и, хромая,
Межой поковыляю, чтоб потом,
Минув овраг и ток, на хутор выйти...
Ты, пес, не вой!
Окошко, не звени!
Храпни в углу, курносая служанка!
Теплеет кожа, ласковый вельвет,
И пахнет рот, во сне полураскрытый...
Сашурчик! Сашенька!
И ты — одна?
А где же муж, возлюбленный тобою?
Иль в тарантасе в город укатил
На ярмарку?
Не бойся: это — Воля...
Теплеет кожа (пепел мой живой!)
И бьется жила медленно и ровно,
И пахнет рот.
А под белком моим,
Под веком вывернутым, безресничным,
Торчат кривые вепревы клыки
И, распирая челюсти, все ниже
За подбородок тянутся, и вот —
Впились, урча, и вот — всосались в горло.
Сашурчик! Сашенька!
Ты, как тогда,

Во флигеле (забыла?) вновь трепещешь,
Вновь вся — от жестких роз и до ногтей —
Моя, моя ты!..
Пес, трубить не надо...
Храпи, служанка,
Не звени, стекло
В окне, куда, нырнув, теряя капли
Белесой слизи с рук и живота,
Протискиваю лысый, липкий череп...
А месяц светит, и пока в овраг,
Прихрамывая, обтирая губы,
Плетусь к погосту, празелень его
Сочится в дыры глаз моих, и волчий
Стоячий купорос, как на Страстной.
. . . .

ГЛАВА ШЕСТАЯ

От досиня наколотого сахара
(на скатерти)
                    Слепило по утрам,
И самовар звенел, — у парикмахера
На подоконнике, — с конфоркой храм.
Назойливая растворилась зелень
И, назудив до бешенства собак,
Чихала перхотью
                    Из всех расщелин
(Не нюхательный ли попал табак?)
И лето легкое
                    (Сухое якобы)
Потело через легкое трико,
Утенка гадкого
                    (Твой туфель лаковый)
Пихая под топчан неглубоко.
Трепался бисерный ягдташ охотника,
Напяливал ботфорты мушкетер...
А в переулке
                    Только тлела родинка
И только заносило
                    Дождик штор...
Отравленный медянки скучным ядом
(Своей же прелестью),
                    Лысел июнь, —
И ежели б не в платьице измятом

Ты подбегала
К врытому коню
И, полосатым промелькнув чулочком,
В рубец — мизинцем:
— Ну, и коновал! —
Не волновалось бы ничто по точкам,
Томления никто бы не знавал...
Не волочит обузу переулочек,
И даже парикмахер
(Гиацинт
Сутулый)
Уличит (и до полуночи),
Что храм есть хам,
А кран есть просто винт...
Собор!
Ударь враздробь в колокола:
Здесь Александра Павловна жила.
Во всю ивановскую бей, собор:
Здесь кенар напевает до сих пор.
И наконец, умолкните враздробь:
Без пробки фляга:
Лопнула от проб...

АБИССИНИЯ

В ПУТИ

(Утро в горах)

Чернокожие стройные люди —
Эфиопы — ведут караван.
Горы серые (груда на груде)
Облегает росистый туман.
Поднимаются крепкие мулы
По иссохшему руслу реки
На отвесы, где в осень тянула,
Да крутила стремнина пески.
Баобабы разлапою тенью
Покрывают цветы и траву
Цепких кактусов ветки — коренья —
Как кошмарные сны наяву.
Поворот и — уродец горбатый —
Выступает верблюд из-за скал...
На востоке уж свет розоватый:
Верно солнечный щит засверкал;
Все — как в сказке: и люди и горы
И поверишь ли тут без труда,
Что далече родные просторы,
Что в России теперь холода!..
Мерно всходят прилежные мулы
По кремнистой тропинке-кайме.
Вот — деревня к ущелью прильнула
И доносится крик «аримэ»...

ПУСТЫНЯ СОМАЛИЙСКАЯ

По-звериному, не по-людски,
Чернокожие люди живут
В этой дикой стране, где пески
Только к тлену да смерти зовут.

Зноем выжжена всюду трава:
Пастухи гонят в горы овец,
Но природа и там не жива,
Но и там смотрит в очи мертвец.

В шалаше духота. А вода,
Словно жидкая муть, — в бурдюках.
Никогда, никогда, никогда
Здесь не встретишь ключа на песках!

Как виденье кошмарного сна,
В небе пыльное солнце — бельмо,
Будто проклята Богом страна
И несет отверженья клеймо!

АБИССИНИЯ

I

Мимозы с иглами, длиной в мизинец,
и кактусы, распятые спруты,
и кубы плоскокрышие гостиниц,
и в дланях нищих конские хвосты, —
о, Эфиопия!
Во время óно
такой, такой ли ты была, когда
твоя царица мудрость Соломона
пытала на весах его суда?
Почила в прошлом ты, иль неужели
вернуться к Моисею предпочла,
влача толстоподошвые доселе
сандалии из чресл сырых вола?
Слежу тебя в ветхозаветном мраке,
за кряжем осыпающихся гор,
у чьих подножий грузных кожемяки
распластывают кожи до сих пор.
И копья воинов твоих — все те же,
все те же кованные острия,
чтоб, прободав распятого, медвежьей
густой хлестнули кровью на меня!

II

На пыльной площади, где камень
посекся мелкою остряшкой, —
коричневатыми руками
суются слизанные чашки.
Мычат гугняво и гортанно,
выклянчивая милостыню,
те, кто проказой, Роком данной,
как Лазарь, загнаны в простыни.
На скуле и сухой коленке
как будто наросла замазка,
но сердцевина этой пенки,
как сук сосны, тверда и вязка.
Сидят на зное и — невнятно
бормочут сжатыми губами,
лениво колупая пятна
чуть закоптелыми ногтями.
Сидят в пыли, копаясь часто
в плащах, где в складках вши засели, —
а под мимозой голенастой
петух скрипит, но еле-еле.
И все — и маленькие куры,
и площадь в скрюченных мимозах,
и в небе облак белокурый —
в расщепленных загрузло грезах.
И притчится, что здесь когда-то
Сын Божий проходил, касаясь

сих прокаженных и — лохматой
тень ползала за ним, косая...
И вот теперь, от спертой гари,
урод болезненный в известке —
в проказе — треплется в Хараре,
вонючий, сжабренный и жесткий.
Сидит на грудах обгорелых,
просовывая из рубашки
узлами пальцев омертвелых
так тонко — слизанные чашки!

III

Незабываемое забудется
Прежде, чем высохнут моря,
И лишь тебя не проглотят чудища,
Желтая эфиопская заря!

В запенившемся вкрадчиво шуме
Раковины — чуют, дрожа,
Твои, распеленутая мумия,
Яростные буруны мятежа.

В дыму колесница полукруглая
Мчится — и меток лук стрелка! —
Туда, куда маленькая смуглая
Женская указывает рука.

Навстречу по грузным ухабам льются
Бронированные слоны.
Стой, полдень! Бьет дева — Революция
Кованным крылом питомцем луны.

Не бег ли расчесывает волосы,
Крутит и колыхает плащом?..
На западе песочные полосы
Застятся низким и косым дождем;

Сырыми лопухами вдоль склонов,
Морщась расползается зга;

Неистовая рать фараонова
Крокодилов зовет на берега...

Но кто это, кто в сумраке мечется,
Машет коричневой рукой?..
Бессмертная! Дево-Человечица,
Лик запрокинувшая высоко!

Не ты ли чрез миражи и топи,
Радугу лихой ворожбы,
Колдуешь о России в Эфиопии,
До неба выращивая столбы?

Не ты ль за облупленными башнями,
Нас обступившими окрест,
Возносишь над рабами вчерашними
Огненный коммунистический крест?

Не ты ли вдруг склонилась над убитыми —
И не тебя ли конь-летун
Пронес громыхая копытами
В страны метелей, волчьих свор и дюн?

1916



ИЗ ПОЗДНИХ СТИХОВ

I

1917-1922

* * *

России синяя роса,
Крупичатый, железный порох,
И тонких сабель полоса,
Сквозь вихрь свистящая в просторах, —
Кочуйте, Мор, Огонь и Глад —
Бичующее Лихолетье:
Отяжелевших век огляд
На борозды годины третьей.
Но каждый час, как вол, упрям,
Ярмо гнетет крутую шею;
Дубовой поросли грубее,
Рубцуется рубаки шрам;
И, желтолицый печенег,
Сыпняк, иззябнувший в шинели,
Ворочает белками еле
И еле правит жизни бег...
Взрывайся, пороха крупа!
Свисти, разящий полумесяц!
Россия — дочь!
Жена!
Ступай —
И мертвому скажи: — «Воскресе».
Ты наклонилась, и ладонь
Моя твое биенье чует,
И конь крылатый, молодой
Тебя выносит — вон, из тучи...

В ОГНЕ

Овраг укачал деревню, —
(Глубокая колыбель), —
И зорями вторит певню
Пастушеская свирель.

Как пахнет мятой и тмином,
И ржами — перед дождем!
Гудит за веселым тыном
Пчелиный липовый дом.

Косматый табун — ночное —
Шишига в лугах пасет,
А небо, как и при Ное:
Налитый звездами сот.

Годами, в труде упрямом,
В глухой чернозем вросла
Горбунья-хата на самом
Отшибе — вон из села.

Жужжит веретенце, кокон
Наматывает рука,
И мимо радужных окон
Куделятся облака.

Старуха в платке, горохом
Усыпанном, как во сне...

В молитве, с последним вздохом,
Ты вспомнила обо мне?

Ты вспомнила все, что было,
Над чем намело сугроб...
Родимая! Милый — милый,
В морщинах прилежный лоб.

Как в детстве, к твоим коленям
Прижаться б мне головой...
Но борется с вием — тленом
Кладбище гонкой травой!

Но пепел, печаль пожарищ,
В обглоданных пнях — тяжел...
И разве в дупле нашаришь
Гнездо одичавших пчел,

Да хлюпнув, вдруг захлебнется
Беременное ведро:
Журавль сосет из колодца
Студеное серебро...

...Пропела тоненько пуля,
Махнула сабля с плеча...
О, теплая ночь июля,
Широкий плащ палача!..

Бегут беззвучно колеса,
Поблескивает челнок, —
А Горе простоволосым
Стоит и глядит в окно.

Ах, эти черные раны
На шее и на груди!

Лети, жеребец буланый,
Все пропадом пропади!

Прощайте, завода трубы,
Мелькай, степная тропа!
Я буду, рубака грубый,
Раскраивать черепа.

Мое жестокое сердце,
Не выдаст тебя закал!
Смотри, вдали офицерик,
Как пьяный, навзничь упал...

Но даже и в лютой сече
Я вспомню в тысячный раз
Родимой тихие речи
И ласковый синий глаз:

И снова, учую снова,
Как зерна во тьме растут
И как над золой лиловой
Восходит розою труд...

В ЭТИ ДНИ

Дворянской кровию отяжелев,
Густые не полощатся полотна,
и (в лапе меч), от боли корчась, лев
по киновари вьется благородной.
Замолкли флейты, скрипки, кастаньеты,
И чуют дети, как гудит луна,
как жерновами стынущей планеты
перетирает копья тишина.
— Грядите, сонмы нищих и калек,
— (се голос рыбака из Галилеи!) —
Лягушки кожей крытый человек
прилег за гаубицей короткошеей.
Кругом косматые роятся пчелы
и лепят улей медом со слюной.
А по ярам добыча волчья — сволочь, —
Чуть ночь, обсасывается луной...
Не жить и не родиться б в эти дни!
Не знать бы маленького Вифлеема!
Но даже крик: распни его, распни!
не уязвляет воинова шлема,
и, пробираясь чрез пустую площадь,
хромающий на каждое плечо,
чело вечернее прилежно морщит
на Тютчева похожий старичок.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В пыли горчичной задохнулся запад,
Параболы нетопырей легки;
По косогору на паучьих лапах —
Чахоточные ветряки.
Настороженной саранчою колос
Качается, затылком шевеля...
Меж тем, на когти крыльев накололось
Молчание — разбухнувшая тля.
Ты огорчаешься, воображаю,
Что в балке сырь, как в погребе, стоит,
Слегка косишься по неурожаю,
Аршином топот меряешь копыт.
Звенит полуоторванной подковой
Твоя кобыла, дрожки дребезжат;
Приказчик твой, лукавый, но толковый,
Пружиной подхалимствующей сжат.
Попахивает ветерком, который,
Быть может, из-под дергача подул
Сейчас, а дома желтый свет сквозь шторы
И проступает контуром твой стул...
Продавлено отцовское сиденье,
И спорыньей изъедены поля;
Под пошатнувшейся прозрачной тенью
Играют в шахматы без короля.
Не все благополучно! Вырастает
За балкою, за косогором столб:

В нем, в светлом, воронья секутся стаи,
Перебегает гул ревущих толп...
Не все, не все благополучно! В сером
(Татарином) приказчик соскочил.
Что ж, щегольнул последним офицером,
И в Сочи кораблю судьбу вручил!..
Прощелкнул, на крыльцо и — «злаки чахнут
(Подумал), распорола спорынья».
И всуе: суетится тень у шахмат
И жалуется на коня...

* * *

Да, не хочу (и вспомнить больно мне!)
И думать — мамочка, ты умерла, —
О Пасхе — необыкновенный май
И в необыкновенной стороне!
Толчок и — нотные несут столбы
Скрипичный ключ и жизнь от «ре» до «си».
Голубчик! Четверга не уноси,
Не уноси страстей моей судьбы!
Ведь как же быть: скрипит мое перо,
Нога медвежья, паперть заперта,
И крест нахохленный сырой, сырой
Над юностью сжимают два болта.
И даже зонтик, в ребрах подробясь,
Бесчисленными спицами клюет
За колесо и за беседки. Вот —
Как режет рельс гудящий контрабас!
И вот, как станция летит, мелькнет
И пропадет (уже навек, навек!)
Среди ключей, мурлыканий и нот,
Где детский похоронен человек!

1921

II

1932-1938

* * *

Ты что же камешком бросаешься,
Чужая похвала?
Иль только сиплого прозаика
Находишь спрохвала?
От прощалыг и я отнекиваюсь,
От муравьиных морд,
Но и Евгения Онегина боюсь!
А вдруг он натюрморт?
Я под луною глицериновою
Как ртуть продолговат,
Мне дальтоническою киноварью
Кивает киловатт.
Здесь все абстрактно и естественно:
Табак и трактор, и
Орфей веснущатый за песнею
(«Орфей», — ты повтори!)
Естественно и то, что ночи он
В соломе страшной мнёт,
Пока не наградит пощечиной
Ее (ту ночь) восход.
Орфей, мой Тимофей! Вязаться
Тебе ли с сорняком,
Когда и коллективизация
Грохочет решетом.
Зерно продергивает сеялка,
Под лупу — паспорта!

Трава Орфея — тимофеевка
Всей пригорошнею — в борта!
О если бы Евгений выскочил
Из градусника (где
он вытянут) ботфорты с кисточкой,
Рука-то без ногтей...
О если бы прошел он поздними —
Вареная крупа —
Под зябь взметенными колхозами
(ступай себе, ступай!)
...Орфей кудлатый на собрании
Про торбу говорит,
Лучистое соревнование
Сечёт углы орбит.
При всех высиживает курица,
Став лампою, яйцо...
...Ну как Евгению не хмуриться
На этот дрязг, дрянцо?
Над верстами, над полосатыми
Чугунный километр.
— Доглядывай за поросятами,
Плодом слонячьих недр:
Евгений отошел, сморкается;
Его сапог — протез.
В нем любопытство парагвайца,
Термометра болезнь!
(Орфей) — Чего же ты не лечишься?
(Евгений) — я в стекле...
...А мир — высок, он — весок, греческий,
А то и — дебелей.
Что ж похвала, начнем уж сызнова
(себе) плести венки,
Другим швыряя остракизма
Глухие черепки...

ПЕРЕПЕЛИНЫЙ ТОК

Самочка галстук потеряла,
                                        Ищет:
Он — у самца,
                    Он в росе намок.
(...Тут вот я и налаживаю пищик,
Маленький мой манок).

Сетка обвисла по бокам лощины,
Травы гремят,
                        Навело сверчков
Так,
        Что небо
                        (Со всей его вощиной)
Лезет само в очко!

Травы — подсолнуха, конечно, толще:
В руку!
            В оглоблю!
                            Ах, нет, не то:
Тут — дубовые,
                        Клёпочные рощи,
Вытоптан пяткой ток!

Бьёт, задыхаясь
                        От буры,
                                    От солнца,

Извести в сердце...
А ночь — без сна,
А глаза в пелене
У многоженца,
И коротка — плюсна.

Перья топорщатся, трещат, —
Их лущат,
Их оббивают
Крылом,
Ногой,
Клювом.
Сумрак от ревности веснушчат:
Штопает дым огонь.

Галстук,
Которым петушок украшен,
Скомкан,
Но желтая выше бровь:
Дракой,
Шашнями,
Страстью ошарашен
В топоте он дубров.

Страусом (киви)
Наскочил соперник,
Новый боец
И — пошло опять
Оттопыренный вспарывать наперник,
Жгучее тело рвать...
Рвать...
Но, склероза глухотой не сдержан,
Сам-то я в прорву лечу,
Дрожа,

Слыша,
Как обнажает шея стержень
Под черенком ножа...

И сумасшедший,
Замечаю сверху:
Вот он валяется — мой манок;
Вот и клетка —
Неубранная перхоть,
Вмятое толокно...

Вот, обессилев, завязли в тенетах
Головы схваченных забияк,
Расквитавшихся волею и плотью
За нее, как и я...

НА ТВЕРСКОМ

(Из цикла «Цыгане»)

Плечиками поводя,
Через пятое в десятое,
Кругом топчется дитя,
Неумытое,
                    Косматое.

Гам и треск на весь бульвар:
С ворожбою липнут матери....

Шире этих шаровар
Не отыщешь и в театре!

Это — сизый великан,
В картузе,
                    С губатой трубкою —
Главный в таборе цыган.
(Над ноздрями — шрам зарубкою.)

Важно он идет средь нас,
В сутолоке исчезающих.
Жбан его,
                    Луженый таз,
На цепочке водит зайчика...

Никому и невдомек,
Что подкова не наварена,

Лошадь продана-подарена,
Что пускает он дымок
Не в кибитке —
В Роще Марьиной...

А давно ль скрипела степь
Под высокими колесами,
За вертепом
Шел вертеп
С ведьмами простоволосыми;

Жаркая горела медь
В куче алого, зеленого;
Бубен бил,
Ревел ведмедь, —
Было время фараоново?

Не вчера ль,
Устав ковать,
Водки выхлестав полчайника,
Он валился на кровать
(С несвоею житовать)
На правах родоначальника?

И не в таборе ль, скажи,
Вынули из петли ангела —
Внучку, из тугой вожжи?

Вот как ты вершил цыган дела!

А теперь, отец, идешь
Важно,
Бормоча про старое...

...Только, нет уж, молодежь
Не приворожить гитарою;

Тем, что льнет
К серьге серьга,
Песня — к пляске, к шубке беличьей;
Легким лаком козырька, —
Жениховской разной мелочью...

Столько всюду перемен,
Столько скрытого,
Мудреного...
В доме с башенкой —
Ромэн
Ставит «Племя фараоново».

Кто, как не цыган,
Поет
Песню новую на фабрике?
В вузе химию сдает
Не кочевник ли из Африки?

Чей, как не цыганки,
Труд
Вывел и ее в товарищи?..

...Что ж египтяне орут,
Жбан
(Котел кипящих руд)
Проносся чрез весь бульварище?..
Это —
Уходящий век
Перед Александром Пушкиным
В безразличьи томных век
Дергает плечом старушкиным.

ИЗ ПОЭМЫ «ЛЕСОЗАВОД»

Весь в желтке, весь отданный гитарам
Пчел, жуков, большеголовых мух,
Полдень топчется над самоваром,
Канифолью и гречихой сух.

В этот полдень (тонет голова)
Перепела перпендикуляром,
Кобчик (шомпол!) бьет наповал...

В такт она мотает мордой — маркой,
Шею настромив на позвонок, —
Лошадь под шеею — масти маркой
Облинявший друг четвероног.

В этот полдень барабан живот
Будет ёкать селезенкой жаркой,
Вытекает мочой оранжевой.

Колесо втянули по ступицу,
Добираясь до чеки, пески.
В этот полдень можно поступиться
Иероглифом египетским,
Раз и он на птичьем языке
(кожа красок начала лупиться)
Верещит, о той же музыке.

И не только можно, но и должно
Перейти на новый алфавит
(Все в энергии, все в неумолчной),
Сыростью желудочной дыша,
Творогом, нарубленною желчью
(Яйцами) не пичкал индюша;
Чтоб оно не спало, рот разиня,

Под плевою не лежало здесь, —

Раз пришел хозяин в блузе синей,
Провод подоил без жалости,
Светом фонари налил — и бровь
Пил, срывающихся в голосине,
Окунул в живое серебро.
Вертикальной он владеет раной
И, зажав в обойму лезвие,
Он в продольнике кроит упрямо
На пластины трезвое.
(— плоть осиновая голуба,
У сосны — желта, как лоск динамо
На хребте ремня, у жолоба).
За доской, за горбылем отбросы
Принимает измененный мир:
Здесь брикет насмешки строит просто
Над опилками вареными.

А хозяин направляет сталь,
В пене победителя разросся,
Волей в точку упирается
Ножницами режет он материю
Лесосеки, — он впихнет в окно
Ворох кислорода, он и двери
Петь заставит в петлях преданно,

Поведет комбайны по меже —
И свою предложит дружбу первый,
Бобыля беря в приемыши.
От золы, от курней вчерашних,
Кулеша на стенках казана —
Синеблузому он однокашник,
Воля и его доказана.

В этот полдень перпендикуляр
Лишь в чертеж вмешался карандашный,
Ходит в радиусе циркуля.

И сырое дерево, коробясь,
Валится из-под тяжелых век,
В обмороке, вдруг легчая в пропасть...
А над ней — спокойный человек,
Глаз аквариумами блестя,
По дуге повертывает глобус —

Дело чести,
Славы,
Доблести.

* * *

И тебе не надоело, муза,
Лодырничать, клянчить, поводырничать,
Ждать, когда, усталый, подымусь я,
Как тому назад годов четырнадцать...

1938



ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание является первой попыткой собрания стихов поэта, чьи произведения в высшей степени неравноценны. Поэтому оно заведомо неполно. Во-первых, за пределами книги остается много «проходных» стихов, печатавшихся в периодике 10-х годов (или оставшихся в рукописи), когда Нарбут, по словам его друга М.Зенкевича, пытался существовать на гонорары от стихов. Другое значительное изъятие касается стихов 1917-1922 гг., когда он, став коммунистом, в значительной степени подчинил свое творчество агитационным задачам (отсюда мы выбрали всего несколько стихотворений). Надо однако сказать, что Нарбут, в отличие, например, от Маяковского, четко разграничивал агитку и «поэзию как таковую». Таким образом, наше разделение этих двух стихий в творчестве поэта фактически опирается на волю автора, который собрал свои основные стихи в одну серию сборников, «советские» — в другую, а к «проходным» первого периода вообще никогда не возвращался. И наконец из последнего периода 30-х годов мы выбрали лишь те стихи, которые в бóльшей мере отвечают критерию художественности. Помимо этого мы вынуждены были оставить пока без внимания правку основного корпуса стихов для готовившегося Нарбутом перед арестом сборника «Спираль». (Не исключено, кстати, что название это дано терявшим голос поэтом в прямой связи с его словами из стихотворения в «Плоти» — «Самоубийца»: «И чуя приступ тошноты от вони, спирающей дыхание в спираль», ибо с подъемом по спирали его путь сравнить было трудно), так как эта правка делалась главным образом из соображений конъюнктуры (а также из ненужной — до невнятицы — изощренности) и, как правка Андрея Белого или Николая Заболоцкого, только портила его лучшие стихи. В случаях же разночтений между публикациями в периодике, рукописях или сборниках предпочтение отдано последнему варианту.

I. Стихи 1906-1916 гг.

В этот раздел входят избранные стихи из сборника «Стихи». Книга 1-я. СПб., изд. «Дракон», 1910; несколько стихотворений из неизданных сборников «Четвертая книга стихов» (1913, рукописный отдел Б-ки им.Ленина), «Спираль» (1936) и отдельных рукописей, а также из периодических изданий этого периода.

«Бандурист». 1906. — Рукопись «Спираль».
«Левада». 1910. — ж. «Gaudeamus», №8, 17.III.1911.
«Сыроежки» (1909), «Сверкали окна», «Вода в затоне», «Под вечер», «Торф», «Земляника», «Вишня», «Кудрявых туч...», «Опенки», «Отъезд», «Осенняя заводь», «Поморье», «Над осенними прудами», «Гобелен» — «Стихи». Книга 1-я. СПб., 1910.
«Зимняя Тройка» — ж. «Gaudeamus», №5, 24.II.1911.
«Вечер сенокоса» — ж. «Современный мир», №12, 1912.
«Летом» — газ. «Сельский вестник», воскр. прил. №31. 31.IV.1911. Повторно — ж. «Жизнь для всех», №7-8, 1911.
«Летний дождь» — ж. «Всеобщий журнал литературы, искусства, науки и общественной жизни», №7-8, 1911.
«Октябрь» — там же. №10, 1911.
«Сонет» — ж. «Нива», №36, 1911.
«Зимний день» — «Всемирная панорама», №189, 1912.
«Зимнее одиночество» — ж. «Всеобщий журнал литературы, искусства, науки и общественной жизни», №3, 1911.
«Ночью» — там же. №6, 1911.
«Вербная суббота» — ж. «Родина», №12, 1913.
«Урожай» — ж. «Журнал для всех», №7, 1912.
«Снег» — ж. «Родина», №46, 1913.
«Светлая осень» — газ. «Сельский вестник», воскр. прил. №208. 22.IX.1913.
«Из окна» — ж. «За 7 дней». №18, 6.VI.1913.
«Аничков мост» — ж. «Аргус», №7, 1913. С рисунком Д.И.Митрохина.

«Как нежен...» — ж. «Вестник Воронежского округа путей сообщения», №6, 1918.
«Телепень и его слуга» — ж. «Гиперборей», №2, 1912.

Остальные стихотворения раздела печатаются по рукописи «Четвертая книга стихов» (1914), материалам из архива В.Брюсова (Рукоп. отдел Б-ки им. Ленина) и др. рукописям.

II. АЛИЛЛУЙЯ

Первое издание сборника было напечатано в 1912 г. в типографии «Наш век» (где и два последующих миниатюрных сборника «Любовь и любовь» [1913] и «Вий» [1915]). Контуры букв были взяты из Псалтыри начала XVIII века, принадлежавшей Ф.М.Лазаренко (директору глуховской гимназии, где учился Нарбут). Клише для обложки было выполнено по набору, сделанному Синодальной типографией. Иллюстрации Е.Нарбута, И.Билибина, М.Чемберс-Билибиной (ей же принадлежит портрет В.Нарбута в книге). Второе издание вышло в Одессе в мае 1922 г., в количестве 1000 экземпляров, было набрано обычным шрифтом, все эпиграфы были сняты. Издание было дополнено стихотворением «Распутная» (из «Любовь и любовь») в качестве третьего в цикле «Лихая тварь». Имелись и небольшие разночтения, а также опечатки, подчас менявшие смысл текста.

Из стихотворений сборника только «Горшечник» печатался ранее отдельно — в журнале «Новая жизнь», №1, 1912.

III. ПЛОТЬ

В данный раздел включен по замыслу автора в «Спирали» почти весь одноименный сборник (1920 года), а также все стихи из сборника «Александра Павловна»

(1922), кроме выделенных отдельно — одноименной поэмы и поэмы «Любовь». В сборнике «Плоть» имелось посвящение С.Ингулову — сотруднику Нарбута по работе в Одессе. Имелся и эпиграф из Вадима Гарднера (одного из членов «Цеха поэтов» в Петербурге): «Что подвиги? Подвижничество — мир» (из его стихотворения в журнале «Гиперборей», №8/10/, 1913). Раздел дополнен также стихотворениями «Щука», «Вначале» и «Вербная суббота» (все — 1916), печатающимися впервые по рукописи «Спирали». Ниже — первые публикации.

«Чета» — ж. «Вестник Воронежского округа путей сообщения», №8, 1918 (под заглавием «Мирное житие» и с датой: 1916. В «Спирали» дата — 1913).
«Одно влечение» — там же, №9, 1919. С датой: 1916. Есть авторское примечание: курча — цыпленок (провинц., Черниговская губерния).
«Столяр» — ж. «Гиперборей», №1, 1912. Есть и поздняя публикация — ж. «Красная новь», №5, 1922.
«Цедясь в разнеженной...» — ж. «Новое вино», №2, янв. 1913.
«После грозы» — ж. «Аполлон», №3, 1913.
«Покойник» — ж. «Новый журнал для всех», №4, 1913.
«Лавина, сонная...» — ж. «Художественная жизнь», №1, Харьков, 1922.
«Хлеб» — ж. «Красная новь», №4, 1922.
«Щука» — имеется сильно отличающийся вариант в ж. «Новый мир», №1, Москва, 1922, под названием «Уха». Здесь текст дан по рукописи «Спирали».

IV. ЛЮБОВЬ

В рукописи «Спирали» дан вариант третьей главы, более удобный для цензуры. Там же датировка глав: I-1915, II-1914, III-1916. Здесь дается текст из сборника «Александра Павловна». Несколько слов, обозначенных точками, вставлены по рукописи.

Кутузов — имеется в виду его портрет, засиженный мухами. В последних строках поэмы намек на «Поучение сыну» Владимира Мономаха: «Сидя в санех не высовывайся» и т.д.

V. АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА

Очевидно не была дописана автором и он сначала поместил в одноименном сборнике разрозненные и нарочито спутанные главы, писавшиеся в 1915-1916 гг. в Глуховском уезде, а затем сделал попытку свести их воедино в «Спирали», добавив не печатавшуюся прежде 6-ю главу. На этот сводный текст мы и ориентируемся. Несмотря на то, что это как бы поэма, состоящая почти из одних лирических отступлений, она все же производит сравнительно цельное впечатление. План проясняется и из автографов, хранящихся в ЦГАЛИ.

Глава I. — Печатается по тексту «Спирали». Первоначально в сборнике «Плоть» под заглавием «Портрет».
Глава II. — Печатается по тексту сборника «Александра Павловна», где носит название «Детская весна». Была и в журнале «Художественная мысль», №7, Харьков, 1922.
Глава III. — Печатается по тексту того же сборника, где она носит название «Вечер».
Главы IV и V. — Печатаются по тексту одноименного сборника, где они и даны как главы из поэмы, но как III и IV.
Глава VI. — Дана по единственному известному тексту в «Спирали».

VI. АБИССИНИЯ

Впечатления от поездки в Абиссинию зимой 1912-1913 гг., предшествующие абиссинским стихам Н.Гумилева (в сборнике «Шатер» [1918]).

«В пути (Утро в горах)» — газ. «Сельский вестник», №23, 27.I.1913 (воскр. прил.). «Аримэ» — дай. Так клянчат абиссин-

ские дети при проезде белых через деревню (прим. в газете). «Пустыня Сомалийская» — газ. «Сельский вестник», №93, 28.IV.1913 (воскр. прил.).

«Абиссиния. I-II.» — Из сборника «Плоть». Второе до того публиковалось в «Новом журнале для всех», №5, 1913.

«Абиссиния. III.» — Из сборника «В огненных столбах» (1920). Датируется: Петроград, 1918 г. Первоначальное название «Эфиопия». В одном из списков имеется дата — 1916 г. Может быть это проливает свет на странную для коммунистической направленности стихотворения его символику («огненный коммунистический крест» и пр.).

Укажем, что Нарбутом был опубликован также очерк «Город раса Маконена» [рас — губернатор] о Хараре в газете «Речь» в начале 1913 г. Мы не смогли точно установить дату публикации, но обнаружили авторскую рукопись в архиве ЦГАЛИ. Приводим оттуда цитаты, параллельные стихотворным текстам: «Плоскокрышие кубы словно закоптелых домов то всходили на бугор, то сбегали торопливой лестницей по скатам их». «Многовековая смоковница, обложенная у корней глыбами плитняка, раскидывала свой шатер у самого города, а под шатром ее сидело несколько прокаженных. Скрюченные, закутанные в грязные шали фигуры упорно гугнявили одно: аримэ!» Упоминаются в очерке лица, с которыми общался там Нарбут, — некий полковник Леонтьев, переводчик-абиссинец Алула. Напомним, что в Абиссинии долгие годы провел Артюр Рембо, по примеру которого Нарбут впоследствии бросил поэзию (см. об этом стихотворение М.Зенкевича «Поэзия»).

VII. ИЗ ПОЗДНИХ СТИХОВ

Здесь, как было уже указано выше, мы даем всего несколько стихотворения Нарбута послереволюционных лет, наименее подчиненных агитационным задачам и наиболее отвечающих художественным критериям. Указываем источники публикаций.

«России синяя роса» (Харьков, 1919) — В «Огненных столбах», «Советская земля».
«В огне» (Бровары, 1920) — там же.
«В эти дни» — «Советская земля».
«Возвращение» (1920) — из рукописи «Казненного серафима» и «Спирали».
«Да, не хочу...» — газ. «Коммунист», Харьков, 18.XII.1924.
«Ты что же...» — по рукописи.
«Перепелиный ток». — ж. «Новый мир», №4, 1933.
«На Тверском» — ж. «Красная новь», №10, 1935.
«Лесозавод» (из поэмы) — с рукописи в ЦГАЛИ (1933-1934).
«И тебе не надоело, муза?» (1938) — из предсмертного письма. Последние известные стихи Нарбута.

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЛИЛУЙЯ

ПЛОТЬ

ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 26 SEPTEMBRE 1983
PAR L'IMPRIMERIE
DE LA MANUTENTION
A MAYENNE
N° 8380